

INSPIRIA



ГАБРИЭЛ КРАУЗЕ

КТО

ОНИ

ТАКИЕ



INSPIRIA

Loft. Букеровская коллекция

Габриэл Краузе

Кто они такие

«ЭКСМО»

2020

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Краузе Г.

Кто они такие / Г. Краузе — «Эксмо», 2020 — (Loft.
Букеровская коллекция)

ISBN 978-5-04-117388-3

Это история Лондона, которую вы не найдете ни в одном путеводителе. Это история о том, как жить сегодняшним днем. О мальчиках, что спешат стать мужчинами и растут на опасных улицах большого города, и о девочках, пытающихся не затеряться и занять свое место. Это история репутации, созданной и утраченной, насилия и мести, никогда не считающейся с ценой.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-117388-3

© Краузе Г., 2020
© Эксмо, 2020

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Не смотри на других | 7 |
| Южный Килберн | 12 |
| Маска | 16 |
| Блейк-Корт | 20 |
| Муравьи | 23 |
| Девка | 27 |
| У Тамики | 33 |
| Первогодки | 38 |
| Свадьба | 41 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 43 |

Габриэл Краузе

Кто они такие

Gabriel Krauze

WHO THEY WAS

Copyright © Gabriel Krauze, 2020

© Gabriel Krauze, 2020

© Шепелев Д., перевод на русский язык, 2021

© Оформление, издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Габриэл КРАУЗЕ

КТО ОНИ ТАКИЕ


INSPIRIA
МОСКВА
2021

Не смотри на других

И сигаю из коня, и хоп, на асфальт, и в этот момент – когда сигаешь из тачки и назад пути нет – понимаешь, что по-любому сделаешь это, пусть даже тебя так шарашит адреналин, что на секунду тебе хочется быть не здесь. И вот мы крадемся по улице, добыча слишком далеко, мы ошиблись по времени, но не можем за ней бежать, чтобы не спугнуть, так что быстро крадемся. Мое лицо обтягивает клава, а сверху я натянул капюшон и чую, как адреналин взрывается под ложечкой умирающей звездой, и словно весь я – колотящееся сердце.

И я быстро крадусь, подбираюсь к ней, и Готти прямо за мной, а она не слышит, как мы движемся, прильнув к земле, в черных хлопковых трениках «Найк», без малейшего шелеста, в кедах «Найк», бесшумных на асфальте. И на пару ударов сердца я отмечаю, как все на улице кажется картиной чьей-то мирной жизни: солнце плывет в небе куском масла в супе, заливая светом улицу и все, что на ней есть: четкие ряды опрятных домиков, гладкие кустики вдоль тротуара, прохладный утренний запах металла; и вот она распахнула калитку, и сворачивает с улицы, и идет по дорожке к крыльцу.

И мы проебали время, но все равно можем взять ее на пороге, так что мы бежим, все еще пытаюсь не шуметь, но надо уже реально спешить, пока она не скрылась, и мы затекаем в калитку – она уже почти у двери, ищет в сумочке ключ, – и мы бежим по дорожке, и нагоняем ее, я могу коснуться ее волос, чую их мягкость и шампунь, и еще дорогой парфюм, от которого почти мутит, и в этот момент все, что я знаю, отпадает – память, прошлое, будущее, а затем эта улица, это утро – и все вокруг исчезает, словно я забываю мир, и есть лишь этот Миг, кристально-ясный, на этом пороге. И только я хочу схватить ее за шею, чтобы усыпить, как она засекает меня.

И кричит. Она видит меня – точнее, мои глаза и чуток губ сквозь три дырки в черной клаве, – и словно вдруг осознает, что попала в кошмар, и нам ясно, что все пошло по пизде, поздняк шифроваться, так что я ее хватаю, давлю рукой на горло и крепко прижимаю к себе спиной, а Готти пытается снять «Картье» с ее запястья, но что-то никак, пыжится, как может, а металл режет ей кожу, и она кричит, забирайте, забирайте, и тогда меня больше не шарашит, потому что мы в натуре это делаем, ничего другого нет, все во мне четко и ровно, и я ей в ухо говорю, не дрыгайся, бля, но Готти не может сорвать часы, хотя она, похоже, не выкручивается, и я вижу, он такой, шозахуйня – это первый раз, чтобы он не мог с кого-то снять часы, а эти все по краю усыпаны брюликами, так что мы всерьез нацелились, типа, легко потянут на десять-пятнадцать косых.

И я думаю, ну нахуй, она же орет, усыплять ее поздно, уж лучше помочь Готти. Тут дверь – белый массив с медной колотушкой – открывается, и там парень лет семнадцати, смотрит на нас как вкопанный и говорит, мам, и наши глаза встречаются, и я вижу в его глазах и за плечом жизнь, не похожую на мою, может, лучше моей, без стольких острых углов и разбитых вещей. И мы все возимся с часами, и вдруг Готти отвлекается и вырубает парня ударом в табло, и захлопывает дверь, и мы снова одни. И я вижу у нее здоровый перстень с камнем, на безымянном пальце, и хочу стянуть, но он застрял, кожа морщится, и ей больно, а скрутить никак – перед ним обручальное кольцо, по сути, стопорит его. Так что я фигак, и отгибаю ей палец, прям до конца, до самого запястья, и странно так – я всегда думал, если ломаешь палец, чуешь хруст кости, слышишь даже, а тут ничего, как бумагу согнуть, словно палец так положено гнуться – и она орет мне, забирай, да забирай, а я никак, и через пару секунд вижу, палец опухает у основания, и понимаю, что теперь я точно не сниму кольцо. И дверь открывается снова, и там мужик в красном свитере, и нам ясно, что это пиздец, надо делать ноги, но мы еще надеемся урвать хоть что-то, чтобы не зря все это, а мужик хватает жену за талию и тащит к себе, за дверь, и Готти такой, ну нахуй, Снупз, пора рвать когти, разворачивается и чешет от

двери, к коню, который ждет нас посреди дороги, а я такой, никуда, не уйду ни с чем. И мужик втаскивает жену в дом и захлопывает дверь, и я вижу прихожую с бежевым ковром (толстый такой, мягкий, из тех, что держат солнечный свет, так что хоть ложись и спи на нем) и хуяк, суюсь в дверь, пока не закрылась, и хватаю бабу за запястье и тащу к себе, и мужик ебашит дверью ей по руке, и она кричит. Готти чешет по дорожке к калитке, а я вижу в щель, что баба уронила сумочку, так что я ее хватаю, а дверь снова открывается, и мужик машет битой, но я пригибаюсь, и она свистит у меня над башкой. Я руки в ноги и бегу с сумкой по дорожке, из калитки, но коня уже нет, он удаляется по дороге, медленно так, задняя дверца настежь, и Готти кричит мне, залазь, а мужик несется за мной, размахивая битой и ревя, как бешеный – без слов, просто рвет глотку, – и я бегу за конем, вдыхая утро, солнечные иглы пронзают небо и падают кругом, и я не уверен, что добежу, типа, никак не догоню, типа, нефига, меня так штырит, не может быть, чтобы вот так все кончилось, не может... И я-таки ныряю башкой на заднее сиденье, и Готти меня хватается – ноги еще снаружи – тачка дает газу, Готти меня втаскивает, тянется к двери и захлопывает, и Тайрелл нас увозит.

Мы вырливаем с улицы на шоссе и говорим Тайреллу, типа, шозахуйня, чувак, не мог подобрать кореша, это была жесть, и я стягиваю балаклаву, и Готти свою тоже, и это как выныривать на воздух с огромной глубины, где ты был так долго, что не замечал, как тонешь, и Готти такой, черт, не знаю, шозахуйня, но я не мог снять часы, просто не мог, пытался по-всякому, и никак, а Тайрелл такой, зуб даешь? но он говорит это ровным голосом, так как дико старается вытащить нас поскорей с района, аж скривился от натуги, бледный, как поганка, но вообще он молоток; не гонит со всей дури, как подорванный, просто едет, как если опаздывает, типа, на утреннюю встречу. Плюс тачка правильная; не сверкает, но и не слишком коцаная или убитая, когда ясно, что такое корыто не сегодня завтра сожгут.

Когда он едет назад по трассе, мимо магазинов и, типа, нормальной утренней жизни, как везде, навстречу нам проносится, завывая, телега, бросая синие отсветы на дома и окна бледными всполохами, еле видными в утреннем свете, и мы с Готти сползаем с сиденья и залгаем на полу, потому что телегу вызвали явно за нами. Мы лежим там, скрючившись, согнув колени, чтобы снаружи никто не подумал, что тут кто-то есть, пригибая бошки к грязному полу, так что видно рисунок коврика, который вдруг становится таким конкретным своей формой, текстурой, цветом, своим...

И телега проносится мимо, в обратную сторону, на улицу, на которой мы были минуту назад, и я немало удивлен – все же говорят, как полицию вечно не дождешься, и всякое такое, но эта оказалась шустрой, то есть весь движ не мог занять больше, типа, трех минут – наверно, сын или муж сразу вызвали федов, пока мы обрабатывали бабу, пытаюсь хоть что-то содрать с нее, но сейчас часов десять утра, и движение спокойное, а мы замутили такую ебанину – неудивительно, что они примчались так быстро. Но они даже не заметили Тайрелла, даже ни разу не взглянули в нашу сторону, и мы уже нормально так отъехали от большой дороги. Мы садимся на сиденье. Едем обратно на хазу, можно теперь расслабиться, мы выбрались, теперь они нас не достанут.

И Готти тогда говорит, ты ебанат, братан, ты ебанат, нахваливая меня перед Тайреллом, Снупз ебанат, ты в курсе, грит, не уйду и всё, а глаза расширены, и улыбка шир-шир-ширная. А я такой, ебать, братан, я бы не ушел ни с чем, и Тайрелл говорит, какой улов, братан? И я показываю сумку – это «Прада», сама, наверно, потянет на косарь, – и Тайрелл говорит, лавэ там есть? И я лезу внутрь.

Там побрякушки богатой бабы: парфюм и дорогой крем для рук, и всякие визитки, и прочее дерьмо, на которое я даже не смотрю, поскольку его не продашь. А затем я натыкаюсь на бумажник, пока Готти базарит с Тайреллом, типа, чувак должен всех обзвонить, птушта мы, блядь, не знаем, где они, а я лезу в бумажник, тайком от Тайрелла, и вижу пачку полтинников на семьсот фунтов, быстро вынимаю и сую поглубже в карман, иначе Тайрелл и другие захотят

долю, а я думаю, нихуя, это наше с Готти, никто не рисковал свободой и не творил запредельной жести, как мы с ним сейчас – хоть и вышел зашквар, – и раз уж это такая мелочь вместо реальной добычи, я ее возьму, и пусть никого это не парит. Обычно самый куш, типа, по тридцать процентов с каждого скока, берут Большой Д, Готти и я. Большой Д – за подвод и наводку, мы с Готти – за гоп-стоп и самый риск, а остальное получает Тайрелл, так как все, что от него требуется, это подкинуть нас к месту, где будет движ, а потом забрать. И тут Тайрелл говорит, чего в бумажнике, братан, есть лавэ? и я такой, неа, только одни карточки, и вынимаю черную «Американ-экспресс», и мы такие, бляааа, уж это верняк, что часы с кольцом должны были стоить бешеных бабок, это стопудово запредельные богачи, говорит Готти. То есть нам и так было ясно, что она богачка, по прикиду и цацкам, да это еще в будний день, чисто рядовое утро, без всяких таких дел – наверно, шла из кафе или, может, из салона, потому что от волос ее пахло кайфово, – и сам двор, куда она зашла, с большой белой дверью, такой домина, какой никому из нас в жизни не заиметь, хотя приятно помечтать, что когда-нибудь придет такое время. Но карточка «Американ-экспресс» – это кое-что еще, она указывает на иной уровень жизни; я только в песнях о ней слышал, у рэперов, вроде Джей-Зэт и Лил Уэйн, ну и, конечно, Канье, втирающих, как они оттягиваются, птушта у них черные карты – высший признак богатства, принадлежности к реальной элите, мажорам, глядящим свысока на остальных.

Я сую карту в карман, на память об этом дне, понимая, что раз уж мне вряд ли светит заиметь такую, с моим именем, отчеканенным на ней, пусть будет хоть чья-то, хотя я не смогу ее использовать – ее, наверно, уже заблокировали, говорит Тайрелл, и все снова кажется нормальным: солнце, знай себе, светит, погода как погода, люди на улицах – просто люди, занятые, чем положено утром в понедельник, и магазины, и машины, шум и гам. Всякое такое.

Мы проезжаем Голдерс-грин; дети уже в школе, люди завтракают в обжорках, магазины открыты, автобусы привозят-увозят людей, все идет по жизни своими четкими дорожками, каждый в свою сторону. Готти звонит Д, сказать, какой вышел зашквар, так что мы теперь возвращаемся на хазу, в Уиллесден, где зависали утром, и в какой-то момент я вижу впереди другого коня – я даже не уверен, когда он нарисовался, наверно, после Голдерс-грин, – и я просто болтаю с Готти, и мы все еще в ахуе оттого, как он не смог снять часы, птушта я видел, как он это делает раза, типа, четыре, всегда четко, без проблем, но в этот раз, хз почему, не вышло. И мы все это перетираем: как было на пороге и с каким звуком дверь заехала ей по руке, смеемся, как муженек врезал ей дверью, птушта я сумел цапнуть ее за руку и вытащить. И вот такая штука: никаких угрызений, у меня никаких, у Готти никаких, и не потому, что мы злодеи или еще из-за какой моральной хуеты. Штука в том, что я на этот счет вообще ничего не чувствую. Она по-любому ни секунды не думала о персонажах вроде меня, о том, что это значит – быть мной. Я ей до фени, а мне до фени она. И до фени я ей не потому, что я так поступил с ней. Я и так был ей до фени, еще раньше, чем мы пересеклись, потому что мы отрезаны друг от друга в своих мирах. Так что нахуй угрызения. Нет смысла тратить время, пытаюсь почувствовать что-то, если это не от сердца. По-любому, так что...

Короче, мы тормозим на парковке у небольшого дома в Уиллесдене, где мы все зависали тем утром. Я сую клаву в карман, где деньги, чтобы карман нарочно чуть выпирал. Мы вылазим из коня, и тут же подкатывает другой конь, «Порш», цвета вороненой стали, в котором всегда рассекает Большой Д со своим племянником, Призраком, чтобы вычислять людей, которых стоит пощипать, и Тайрелл с Готти закуривают. Тачка идеальная, птушта слишком чумовая – слишком дорогая – для уличной шпаны, так что Д может вплотную втыкать на людей изнутри и прикидывать, кого мы тряхнем. Плюс когда мы едем в конвое – обычно они впереди, поскольку они наводчики, а всю жесьть творим мы, – никто не подумает, что мы в паре, ведь их тачка с иголки, то есть я вас умоляю: то чуваки в «Порше», а то мы, в каком-то бэушном корыте. В нашем коне телочек не покатаешь, ты меня понял.

Хаза что надо, не близко от нашего района, но и недалеко от жилых кварталов, никто из нас не живет на этой дороге и никак с ней не связан, а парковка за забором и высокими кустами, так что с дороги нас не видно. Из коня вылезает Большой Д и морщит лоб. Призрак тоже вылезает и задает вопросы, но его все игнорят, и мы с Готти начинаем базарить с Большим Д, пересказывая все по новой, показывая сумку и матеря того мужика, ебать, говорит он, мож, вернемся за ней потом, птушта такие сумки можно нормально загнать, и я иду и нычу сумку под один высокий куст у забора и присыпаю палой листвой. Готти с Большим Д перетирают в стороне от всех, понизив голоса; Д – авторитет, дает нам зачетные наводки, но базар вести умеет, особенно с Готти. Тайрелл и Призрак, если уж так, на подхвате, они же водилы, никакой хуйни не творят, у этих чуваков кишка тонка, не то что у меня и Готти. Но зато над прикидом своим гоношатся, это умора, даже когда выходят на дело. Призрак вечно сверкает золотым зубом с большим камнем, а Тайрелл – белыми штанами с вышивкой, словно едет зажигать. Не то что чувак собрался пострелять номерки у клевых телочек по пути на движ. Реальная маза в том, чтобы водила не казался чуханом, про которого подумаешь, типа, твой конь тебе не по карману.

Короче, Большой Д перетирает с Готти, оба морщат лбы, и я подхожу и слышу, Д говорит, не, Готти, нового коня нужно достать прям щас. Большой Д сутулится, нависая над Готти, а тот засунул руки в карманы треников и воротит нос всякий раз, как Большой Д нависает над ним, словно не хочет, чтобы его касались слова Д, а мне не слышно, о чем речь. Готти такой, да ну, нахуй, старик, я мутить ничего не стану после такого, без вариантов, и говорит, что доверяет только одному, своей чуйке, и он чувствует, что сейчас не время идти на дело. А Д всю бомбит его словами, но Готти идет в отказ, типа, нифига, я не согласен, это полная хуйня. Он делает суровую затяжку и пуляет сигу. Я говорю, что за базар, Д? И он давай втирать, что нам надо купить нового коня, если мы хотим делать больше движей, и он хочет, чтобы кто-то из нас метнулся в магаз шмоток в Голдерс-грине, где одна продавщица вечно сверкает «Дайтона-Ролексом», и снял с нее часы, чтобы толкнуть их и купить нового резвого коня. Надо думать, добавляет он быстро, нам всем тоже капнет лавэ, а потом отворачивается и сплевывает в куст. И Готти смотрит на меня, типа, неа, Снупз, ну нахуй, у меня такое чувство, что надо ждать беды – и я слышу, как машины проезжают по дороге, за кустами, но в таком отдалении, словно мир от меня уплывает.

Раньше никогда такой проблемы не было. Большой Д всегда покупал нам резвых коней, как того, в котором мы сюда приехали; то есть начать с того, что он сам сколотил эту группу, так что и вопроса такого стоять не должно. Он знает, мы с Готти реальные едоки, знает, что это наша тема, если уж так, это первый раз, когда движ конкретно пошел по пизде, он должен понимать, что мы возместим убыток с лихвой в другой раз. Но сейчас он хочет, чтобы мы подорвались и устроили конкретную жесть – то есть смотались в Голдерс-грин, откуда мы, по сути, только вернулись, – и лишь затем, чтобы добыть денег на нового коня. Готти прав, там сейчас должно быть жарко, феда по-любому будут рыскать. И потом, трясти магаз при свете дня? Щипать продавщицу в самом магазине? Без шифровки, без прикрытия, без ничего. Вот так, зайти туда дуриком и прижать ее, до усрачки напугав, причем я и клави не успею натянуть, птушта меня засекут, наверно, раньше, чем я войду в магаз, а я не знаю, где там камеры, и все такое.

Я смотрю на Готти, а Большой Д кладет мне руку на плечо и отводит в сторону, подальше от других, но рука его слишком жмет мне шею, а кожаный рукав шуршит, как змея, когда линяет, и пахнет от него перегаром и лосьоном, и он такой, Снупз, я знаю, ты мастак, это фигня, все, что тебе надо, это зайти в магаз, и как увидишь эту телку, подходи к ней ровным шагом, а потом раз, и снял с нее часы.

Я вечно голоден, хотя лавэ у меня значено, но я всегда хочу больше, так что даю ему отвести меня в сторону, хотя его рука все больше давит мне на плечи. И я спрашиваю Д, как

именно я это сделаю? Он начинает показывать на своем Ролли, как нужно схватить циферблат и дернуть под углом, объясняя, как резкое нажатие сломает зубок, где ремешок крепится к корпусу. Я пытаюсь повторить, как он показал, на его часах, но потом думаю, ну его, если Готти не пойдет, то нахуй, и на этом завяжу соглашаться на всякую жесть. Я убираю руку с его часов и говорю, не, чувак, эта хрень, похоже, слишком стремная, слишком много мутных моментов, я пас.

Я поворачиваюсь, чтобы не видеть лица Большого Д, и иду к Готти. Ненадолго позади меня повисает тишина, а затем мир опять притекает, шумный, быстрый, непрерывный. Я подхожу к Готти, и он понимает, что я сказал нет, и лицо его спокойно, и черные глаза смягчились, и он говорит, верь мне, Снупз, лучше слушай чуйку и не смотри на других. Не смотри на других. Похуй, что подумает чувак, тебе ничего не надо доказывать, брат, чувак и так знает, ты мастак. Но это дело дрянь, брат, точно говорю, пахнет бедой.

Я толком не замечаю, как мы оттуда уходим. Большой Д говорит насчет того, что наберет нам, и мы стучимся кулаками с Призраком и Тайреллом. Тайрелл шагает в Криклвуд, Большой Д с племянником отъезжают в «Порше», а мы с Готти идем назад, в Южный Килберн. Я говорю, как по мне, так Большому Д понадобился новый конь, чтобы мы могли туда вернуться и побазарить с этим брателлой. Я думал, говорю, он будет, как босс, рулить по полной, а он мнетса, как будто лавэ нанэ, ну нахуй. И Готти такой кивает, в натуре, в натуре, и мы с ним оба понимаем – хотя вслух не говорим, – что это был наш последний движ с Большим Д.

Когда мы подходим к Южному Килберну, небо ерошат серые тучи, словно тесто на опаре, и солнце не смотрит на город. Я отсчитываю Готти половину от семихатки, стыренной из бумажника, и слегка поднимаю ему настроение, и он говорит мне, пока мы идем по Килберн-лейн, избавиться от черной «Американ-экспресс». Я приседаю рядом с водостоком и делаю вид, что бросаю туда карту, а сам сую в рукав. Я хочу оставить что-то на память об этом дне. Нас никак не смогут вычислить по ней, если только не поймают за руку, а я не планирую светить ее. Мы возвращаемся в Южный Килберн, в жилые кварталы, чтобы заваляться к Пучку. Мы теперь можем купить один-два косяка или две восьмушки, хорошенько упороться, заскочить на бровях в метро и вернуться в Восточный Лондон. Как я сказал утром Готти, когда мы выдвинулись творить жесть, мне надо постараться встать завтра пораньше и свежачком, полным сил, к первой паре в универе.

Южный Килберн

В округе, типа, два-три магази́на, и всякий раз, как я захожу купить бухла, «Ризлы» или еще чего, в витрине висят белые постеры со словом УБИЙСТВО большими красными буквами поверху, а под ним зернистое фото одного брателлы по имени Блугз, с припиской насчет вознаграждения в двадцать тысяч фунтов за любую инфу и обещанием анонимности, само собой.

Как было дело. Блугз задолжал деньжат лучшему другу, Криперу, – типа, косарь. Вся братва зависала на воздухе, в квартале Д, и там был Блугз, только из тюрьмы, после полутора лет, за хранение с намерением сбыта, и он задолжал Криперу, поскольку Крипер, пока он сидел, присматривал за его девушкой – давал ей лавэ на магаз, купил мелкому новую коляску, ездил с ней в тюрьму на свиданки – в общем, Крипер считал, Блугз ему должен. Короче, в тот день, когда все были на воздухе, в квартале Д, заявляется Крипер и спрашивает Блугза, когда я получу свои деньги? А Блугз говорит, никаких ты денег не получишь, киса, поступай, как знаешь, и Крипер, державший Блугза на мушке, стреляет в него и уходит. День был жаркий, в июле, все были на районе – у самого парка, который тянется вдоль Вордсворт-хауза, – и Готти там был, и он мне сказал, как Блугз после выстрела схватился за грудь, над самым сердцем, походил кругами секунд, типа, десять, не издав ни звука, и упал. Совсем не как в кино, братан, сказал Готти. Может, Крипер бы не сделал этого, если бы братва не принимала солнечную ванну на районе. Но все там были, и Блугз залупался, не выказывая чуваку никакого уважения, так что Крипер должен был что-то сделать. А теперь в витринах висят постеры об убийстве, так как не нашлось свидетелей, никто не стал давать показания, все, кто был там в тот день, отказались говорить с федами, но все знают, кто это сделал. Даже мать и сестра Блугза.

Потом я слышал что-то насчет того, что Крипер рванул на Ямайку, но попал там в жуткую аварию, и его так распидорасило, что пришлось вернуться на лечение, потому что, останься он в ямайской больнице, ему бы, типа, грозил полный паралич. Короче, он вернулся в Лондон, и его прямо в Хитроу повязали феда. Но все равно никакого дела ему не пришили. Ни один свидетель так и не нашелся, и, насколько я знаю, паралич его в итоге не разбил, ничего такого – я видел его на прошлой неделе в Ледяном дворце Куинс, с какой-то телкой, а мой кореш сказал, что пол-лица у него перекошено, как у Двуликого. Не похоже, чтобы где-нибудь за пределами Южного Килберна нашелся свидетель. То есть прикинь: вышел ты утром из дома, идешь к зданию напротив, где все тусуются, курят, базарят, всякое такое, видишь там своего врага, рамсишь с ним и мочишь на месте, а потом идешь домой, минуту спокойным шагом или двадцать секунд бегом – в общем, ты понял, насколько это место закрыто и отрезано от остального мира.

Это между Мейда-вейл – сплошь краснокирпичные викторианские особняки и здания с колоннами вдоль зеленых аллей – и вокзалом Куинс-парк, где мрачные улицы расползаются массой жизненных укладов, совершенно непохожих друг на друга. Если со стороны Мейда-вейл, надо пройти по Малверн-роуд, мимо букмекера и цыплятины, и двух китайских забега-ловков, и зеленого углового магази́на слева, и обшарпанных домишек, утыканных спутниковыми тарелками, и почтамта в скверике справа, где всегда опущены жалюзи, разрисованные черной краской, – и ты, по большому счету, на месте, у входа в Южный Килберн. Ты как бы сразу поймешь, что пришел, как только увидишь ряды этих малоэтажек, а дальше высокие бурые кварталы, у которых такой вид, словно они рухнули с неба и впендюрились в землю. Ты поймешь, что попал в особое место, потому что через десять шагов по Малверн-роуд посреди тротуара будет гладкий шест с камерой, а под камерой иисусов венки из железной колючки, на всякий пожарный. И камера на самом деле движется, озирая дорогу, по кругу и вверх-вниз, и я видел, как она следит за мной, медленно поворачиваясь.

Дальше по Малверн-роуд еще одна камера на шесте, а за ней кварталы, начиная с Блейк-корта и Диккенс-хауса, восемнадцатизэтажного. Они возвышаются над округой, отбрасывая синие тени, и, если подойти слишком близко, чувствуешь холодное дыхание ржавого бетона и напряженную тишину за каждым окном. Пройдешь еще немного мимо кварталов и увидишь маленький парк, точнее, прямоугольник газона, справа от которого торчат бурые башни и очередная камера наблюдения на шесте, управляемая из неведомого центра. Перейдешь парк и окажешься в Карлтон-вейл, растянувшимся вдоль дороги, разрезающей район двусторонним потоком машин, спешащих подальше от этого места. В прежние дни там был бетонный переход, типа моста, соединявший одну часть района с другой, словно бы намекая, что отсюда не выбраться, ведь ты оставался в пределах района, даже перейдя длинную дорогу, по которой проносятся чьи-то жизни.

По другую сторону Карлтон-вейл находится Пил-комплекс, бетонная площадка, окруженная кварталами, облицованными синей и зеленой плиткой, с белыми балконами, а в центре комплекса, перед следующим рядом пыльных магазинов и малоэтажек, очередная камера с колючей проволокой под ней и табличкой со словами «Система ТВ-наблюдения. Эта камера активна». Я все время вижу, как она движется, провожая братву, гуляющую по комплексу; эту часть Южного Килберна мы называем Комплекс, а другую – с кварталами ржавого цвета вдоль Малверн-роуд – квартал Д.

Когда я переехал в Южный Килберн, мне было семнадцать. Я жил у дяди Т, в квартале Д, в Блейк-корте, пятиэтажке рядом с Диккенс-хаусом, и перед Блейк-кортом вечно зависали торчки в ожидании толкачей, в запертой одежде, с влажной, липкой кожей, гнилыми черными ртами и желтыми глазами, а большая часть братвы Южного Килберна зависала на открытой площадке здания под названием Вордсворт-хаус, рядом с Диккенс-хаусом, смотрящей на вытянутый парк, и никто почти не ходил мимо, хотя по дорожке через парк, мимо Вордсворта, можно срезать путь с одного конца района до другого. Но большую часть времени братва зависала на балконах, натянув капюшоны и высматривая торчков и федов, и врагов, и тебе не хотелось стать предметом их внимания. Умом поехать, но, только начав писать диплом по литературе, я осознал, что эти бетонные башни квартала Д в Южном Килберне названы в честь великих английских писателей и поэтов: Блейк-корт в честь Уильяма Блейка, Остин-хаус в честь Джейн Остин, Бронте-хаус в честь сестер Бронте, Диккенс-хаус в честь Чарльза Диккенса, Вордсворт-хаус в честь Уильяма Вордсворта, а квартал, где зависает вся братва, и само здание называют квартал Д.

Как только тыходишь в любое здание, ты под наблюдением. Помимо всех камер на шестах, следящих за прохожими на районе, и большой камеры в центре Комплекса и на детской площадке в центре района – не считая всего этого, когда тыходишь, к примеру, в Блейк-корт, прямо над входом тоже камера. Войдя в подъезд, ты видишь еще одну камеру, в углу чумазого потолка, а табличка из желтого пластика на стене гласит: «Эти помещения находятся под ТВ-наблюдением», и пониже: «ЖИЛИЩНОЕ ПАРТНЕРСТВО БРЕНТ ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАЩАТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПОВЫШАЕТ ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ». В лифте тоже камера, а на зеркале нацарапаны имена, так что свое отражение ты видишь изрезанным на мелкие кусочки.

Был такой брателла, звали его Птенчик, и как-то летней ночью он устроил тусу у себя на хате, в Диккенс-хаусе. Птенчик ничем таким не занимался, вообще ни в чем не был замазан, он был просто обычным брателлой из Южного Килберна, но его кузен с парой других чуваков грабанул кое-кого из местных крутых и испарился. Никто не мог найти их в Северо-Западном Лондоне, а те чуваки, которых они грабанули, были под Багзом Банни. Такая проблема. Короче, около двух ночи, в разгар тусы Птенчика, на хату вбегает Багз Банни весь в черном, в маске, с «Глоком-9», и стреляет Птенчику в грудь. Птенчик на адреналине пытается бежать, выбегает на балкон и сигает. Но хата на третьем этаже Диккенс-хауса, и он ломает себе ноги.

Кто-то из тусовщиков вырубает музыку, и слышно, как Птенчик просит о помощи. Из здания выбегают люди, сплошь крики и голоса, и теплый ночной воздух дрожит от громкой страшной тишины. Затем выходит Банни, подходит к лежащему Птенчику, стреляет три раза в голову и исчезает в ночи. Птенчик умирает в тени здания, обхватив переломанные ноги, так ничего и не узнав о Чарльзе Диккенсе, и ни луна, ни звезды не взирали на него, потому что ночная засветка от города превращает подбрюшье неба в маслянистое марево.

Никого за это не арестовали. Не нашлось свидетелей. А теперь, если попытаться выяснить что-то об этом, Птенчика словно никогда и не было. Сколько ни гугли его имя, нихрена не найдешь. Когда федаы публикуют свои списки нераскрытых убийств в столице, имя «Птенчик» там не фигурирует. Словно ничего и не было. Но я услышал эту историю почти сразу, как переехал сюда; я слышал, как дядя Т сказал, ты об этом квартале, где застрелили пацана, который сиганул с балкона – он просто хотел убедиться, что тот, с кем он говорил, имел в виду Диккенс-хаус, – это стандартная отсылка для людей вроде дяди Т, проживших здесь большую часть жизни. И братва ЮК знает об этом, многие из местных это помнят; то есть большинству из них стоило только к окну подойти, когда их разбудили выстрелы, чтобы увидеть Птенчика и всю эту маету со «Скорыми» и федами, а самые шустрые могли даже застать последние моменты перед тем, как Банни растворился в ночи.

Вроде полный беспредел, но не для местной братвы, для них это в порядке вещей, не говоря о том, что это формирует моральные устои юных ганста, и не секрет, что насилие много кого вдохновляет на лирику, особенно рэперов, чеканящих суровые строки о зачетных стволах и мокрых делах. Потому что здесь нет ничего важнее, чем сохранить репутацию, ты ни в коем случае не можешь проявить слабость, не можешь допустить, чтобы на тебя смотрели как на рохлю, спускающего все на тормозах. Когда без репутации ты – ничто, жестокая месть становится твоим оправданием и спасением. И пусть Банни не замочил никого из тех, кто ограбил его людей, он понимал, что кузен Птенчика со своими корешами – которые и были целью Банни – услышат об этом и, надо думать, никогда больше не сунутся на северо-запад. Если не можешь ударить врага напрямую, ты наносишь удар по родне или друзьям, поскольку тебе надо сделать заявление. Ты не делаешь чего-то однозначно окончательного, того, что положит конец порочному кругу вражды; ты делаешь заявление, что ты беспощаден, чтобы враг тебя боялся, и не надо себя дурачить, что к этому дерьму применимы какие-то правила.

За пределами ЮК – скажем, в Центральном Лондоне или любом другом условно нормальном месте, – никто не слышал об этих нераскрытых убийствах, не видел зернистых фото в магазинах в тени кварталов; ты садишься в автобус или метро и внезапно попадаешь в другую реальность, но все равно несешь с собой свое знание. И безумие в том, что эти постеры об убийствах висят в том единственном месте, где люди не станут сотрудничать с федами. Здесь все живут по принципу наеби закон, достань бумажку любыми средствами, грабь, стреляй, мухлой, спускай деньги на грилзы с брюликами, понтовые «Ролексы» или типа того, натягивай мокрощелок, дуй шмаль до отключки, игнорь торчков, торчащих, словно мумии, на лестничных площадках, живи на скорости сто миль в час и не думай расслабляться, потому что никогда не знаешь, когда настанет твой последний день.

Такие, как Банни, кто просто заточен на разбой, воспитывают пацанов, показывая им, как жить, как быть беспощадными, как ценить только деньги и статус, и пацаны быстро схватывают, что в такой среде никакое насилие, никакое притеснение, как ни назови, не могут быть неправильными, ведь так устроена жизнь.

Жизнь жестока и внезапна. Закон – это лишь одна из форм местной власти. И не только в виде рейдов, которые здесь не редкость, но и как в тот раз, когда какого-то брателлу, переходившего дорогу, сбила полицейская тачка – это был тупо несчастный случай, но раньше всех на место прибыла бригада спецназа в серебристом «мерсе», ребята в бронежилетах, державшие пальцы на курках МП5, и только потом прибыла «Скорая».

И здесь почти никто не обращается в полицию – особенно когда дело касается избиений, похищений или ограблений, – типа, если ты толкаешь крэк или герыч на районе и пара чуваков приходят к тебе и грабят, врезав пушкой по башке, может, даже попытат утюгом или горячим чайником, ты не звонишь в полицию. Они и не почешутся, узнав, кто ты такой, чем занимаешься, потому что в их глазах ты отказался от права на защиту, встав на преступный путь. А кроме того, ты должен дать сдачи, должен отомстить, и даже если не сможешь вернуть лавэ или хавку, хотя бы защитишь свое имя. И, по-любому, не смей стучать. Никто из нас не доверяет федам, и если ты просто заговоришь с ними, ты уже стукач, а стукач – это мишень, и ты волей-неволей становишься жертвой. Сколько раз я видел на районе, как кого-нибудь избивают или пыряют, как его избитого в мясо поднимает с пола пацанва или друган сажает в своего коня и везет в больницу, а если кого не сильно побили, он просто идет в укромное место, приводит себя в порядок, мажет раны антисептиком, лепит пластыри и перевязывает футболкой, если не задеты важные органы или артерии, а затем заглушает боль шмалью и бухлом, копя в себе гнев. И поскольку к федам никто ни ногой, то и дело кого-то отлавливают и требуют выкуп у старших братьев, которых хотят пощипать, скажем, успешных толкачей, которые поднимают лавэ, но не выпендриваются, чтобы их грабили едоки, так что похищают их младших братьев, и приходится платить выкуп, так или иначе, и я знаю нескольких людей, с кем такое было, и ни один не доложил об этом, ни разу.

На автобусной остановке у Южного Килберна одно время висели постеры с рекламой Операции Трезубец, разъяснявшие, как контактировать с полицией анонимно. Был даже один постер с каким-то брателлой в луже крови, тянувшим руку к пушке, а над ним надпись крупными белыми буквами: «Молодой, Талантливый и Мертвый». Таких обращений не увидишь в богатых районах или в Центральном Лондоне, только в трущобах. Представь. Видеть такое дерьмо каждое утро, пока ждешь автобус в школу. До того как я стал жить в башнях, я проезжал мимо них на 31-м автобусе от родителей, рядом с Вестбурн-парком. Мне было интересно, что за жизнь у местных, что творится за этими окнами в массивных зданиях, сколько там разных историй. Чем живут эти люди? Кажется, такое место должно быть шумным и бурлить энергией, но это не так. Снаружи видишь только бетон, похожий на тихий пульс, размеренно стучащий в тишине, и окна, неразличимые между собой, грязные и пустые.

Маска

Возможно, дом – это не место, а просто неизбывное состояние.

Джеймс Болдуин, «Комната Джованни»

В семнадцать лет у меня была такая африканская маска, подарок друга семьи. Он привез ее из Конго, она была вырезана из какого-то темного дерева, с рельефными волосами в виде пальмовых листьев и прорезями рта и узких глаз; я не мог понять, сонные они, или грустные, или еще какие. Я ее поставил на книжную полку у себя в спальне, но всякий раз, как заходила мама, она говорила: мне она не нравится, зачем она тебе, она, наверно, проклята.

Пальцы у мамы вечно испачканы масляной краской. Она обкусывает ногти до самого мяса и пытается навести порядок, срывая лоскуты кожи, пока не пойдет кровь.

Я вырос в квартире, заваленной картинами и рисунками. Они не просто висели на стенах, но и стояли без рам за дверями, за диваном, загромождали мамину спальню и ее сознание. Отец, сколько я его помню, спал на диване, потому что их с мамой спальня была каморкой, хотя когда-то там стояла двуспальная кровать, но в какой-то момент ее сменила односпальная, и там же были шифоньер и комод, общий с отцом, а оставшееся место занимали мамины книги и бумаги, и наши с братом распашонки – она не решалась выбросить их. Я никогда не ласкался к ней в детстве, даже до того, как у нас начались проблемы, поэтому она называла меня «sassolino», что значит «камешек» по-итальянски, словно я был голышом, который она подобрала на берегу и положила в карман. Мама иногда кому-нибудь рассказывает, как она взяла меня шестилетнего в Национальную галерею. Мы провели там несколько часов; фактически мы там слонялись до самого закрытия. Она рассказывает, что я ходил от картины к картине и рассуждал о них, а за мной толпой ходили люди. Думаю, в последней части она преувеличивает, ведь она была так рада, что ее ребенок врубается в искусство. Помню, больше всего мне нравились такие большие батальные сцены, полные рыцарей, увлеченно убивающих друг друга.

Короче, мне было семнадцать. Я пришел домой после колледжа и не увидел маску. Я все перерыл и наконец нашел ее засунутой в раскученную вытяжку у себя в спальне. Она была ужасно исцарапана, в дерево ввелись белила, а резные волосы забивала грязь и кирпичный порошок. Я пошел к маме в комнату и сказал, это ты засунула мою маску в вытяжку? И она сказала, да, и я сказал, зачем ты это сделала? А она сказала, просто захотела, она мне не нравится, а я сказал, нельзя причинять вред чьим-то вещам, а она сказала, еще как можно, и я сказал, хорошо, лады, взял и выбил ее вытяжку, и всю расхреначил, так что стало видно кирпичи за ней, и тогда я сказал, теперь мы квиты. Мама стала беситься, так что я сказал, ну нахуй, я сегодня перееду в Южный Килберн. Незадолго до того дядя Т сказал мне, у него в квартире освободилась комната, и я мог бы снимать ее, так что я знал, куда податься.

По-любому, мне пора было сваливать. У меня уже было несколько приводов, в том числе за оскорбление полиции прямо у нас под окнами, когда меня стопанули и я попытался смыться, поскольку при мне было перо и дурь. К тому же, хотя с отцом я всегда был ближе, чем с матерью, я отдалился от него, когда он забрал у меня нож-бабочку, едва я наловчился махать и финтить им по-всякому. На тот момент я ощущал себя дома у родаков только в плане воспоминаний и знакомого пространства. Моя кровать была моей, и деревянный стульчик рядом, и мои книги на полках, и диски, и шмотки в шкафу – все это было моим. Но в остальном мне там было некомфортно, хотя бы потому, что в гостиной все время играл на скрипке мой брат, Дэнни, часов по семь-восемь в день, так как он перестал ходить в школу, получив аттестат зрелости, чтобы строить карьеру скрипача, и мама говорила, гостиня должна быть его, но даже если Дэнни не играл по вечерам, нам с ним не разрешали оттягиваться и смотреть телек – мама сразу выключала его и говорила, встав перед экраном, что нам пора спать, даже если было

только часов девять вечера или типа того. Повсюду валялись книги и старые газеты, и неоткрытые письма, и поломанные стулья, и старые игрушки, которые мама собирала не пойми зачем, – она это называла своим искусством, и эти груды только разрастались – зуб даю, у нас было, типа, три стола, сплошь заваленных ее бумагами, и их нельзя было трогать. А еще мне нельзя было слушать музыку у себя в комнате, если не в наушниках, потому что родки терпеть не могли рэп или грайм, да что угодно, во что я врубался. Один раз, после очередной нашей ссоры, мама вошла ко мне в комнату, взяла все мои диски с рэпом, разломала их и бросила в ведро. На следующий день, пока я был в школе, она сорвала со стен у меня в спальне все постеры – Мобба Дипа, и Фокси Браун, и других рэперов, – после чего моя спальня стала, по сути, просто комнатой, где я спал. К тому же моя дверь была поломана – выбита вся верхняя панель, – так что закрывай не закрывай, без разницы. Но панель выбил я сам.

У меня в комнате висело такое баскетбольное мини-кольцо с эмблемой «Шарлотт-хорнетс», которое когда-то мне купила мама в Италии, на каникулах, и как-то раз, после ссоры, она сорвала его со стены, а потом взяла резиновый мячик и проткнула моим перочинным ножиком, так что мячик пшикнул и сдулся, и мама сказала, теперь видишь, видишь, что бывает, когда не слушаешь мать. Я прямо выпал в осадок и стал плакать жгучими сердитыми слезами, как маленький, а мама скорчила жалобную мину и такая, давай, поплачь, бедняжка, тебе должно быть стыдно, и тогда я стал фигачить по двери – бам-бам-бам – и выбил всю панель, от чего мне стало только хуже, ведь отец потратил немало с трудом заработанных денег, чтобы обустроить наше жилье и поставить во все комнаты деревянные двери. Он на самом деле вкалывал как проклятый, практически без выходных, рисуя для разных газет и изданий, и часто бывало, что за все выходные я не видел его, если только не просыпался где-то в час ночи и не спускался в кухню попить воды, и он там сидел за столом со стаканом минералки, притопывая в тишине и чертя по бумаге карандашом, выполняя очередной рисунок, который надо было сдать к утру. Он поднимал на меня взгляд, улыбался и говорил «ночны марек», что значит «сова» или «полуночник» по-польски, и тогда я обнимал его, чувствуя его пот и усталость, и шел спать. Утром он был на ногах с шести и открывал все окна внизу, даже зимой, и часто уходил раньше, чем я начинал собираться. Но дверь я так и не починил. Однажды я собрал сумку и ушел, хлопнув напоследок дверью, сквозь которую было видно мою комнату, и поспешил на выход.

У дяди Т вечно были перебои с горячей водой. Мыться приходилось по старинке, скрючившись в ванне и плеская на спину холодную воду, от которой я весь передергивался. Но в остальном меня там всегда ждал косяк с отборной травой, и тарелка жареных бананов, и яичница с грубым хлебом на завтрак, а на ужин козленок карри с рисом и фасолью и оладьи с соленой рыбой, от которых по двору плыл такой запах теплой соленой жарехи, перебивая сладковатый травяной дух, напоминавший замшелую землю, этот запах доминировал над всем и мягко растекался у тебя по переносице и векам. Не стану врать, что мне хорошо спалось после такой жарчки. У дяди Т был музыкальный центр, на котором он вечно крутил корни и регги, и рок-баллады, и приходили его друзья старой закалки, с пиратскими записями, и вся хата вибрировала от басов, пока они курили и балдели под музыку. Когда лавэ поджигало, обеды и ужины урезались до мясных консервов, которые дядя жарил с луком и белым рисом, но он всегда следил, чтобы я был накормлен. Ешь от пуза, сынок, говорил дядя Т, а если на кухне были его друзья, говорил, гляньте, как пацан наворачивает, не в коня корм, и все смеялись, потому что, сколько бы я ни съел, никогда не толстел, всегда был дрищом.

Здоров, Снупз, восклицал дядя Т всякий раз, как я показывался на хате. Если я заходил на кухню и видел, как он забивает косяк, он и мне отсыпал, говоря, на-ка, сынок, покури, а потом спрашивал, ел ли я с утра. Когда-то он носил дреды, но потом срезал, разуверившись в расте, потому что там, как он сказал, дохера всякой мутной хрени, как почти во всех религиях, и однажды, когда я жил у него, он показал мне срезанные дреды, которые хранил в пакете.

Еще у дяди Т был кот Царап, который, наверно, всегда был под кайфом, и когда мы дули шмаль, так что вся комната была в дыму, дядя Т брал его на руки и гладил по спине, и кот выгибал костлявую спину под грубой дядиной рукой без мизинца – он лишился его в молодости, на заводе. Дядя Т носил очочки и отрастил пузо, хотя когда-то был богатырем. Жизнь, она такая, всех меняет. Я еще кому хош пиздюлей навешаю, говорил он, сидя внизу, с кастетом в кармане – он поджидал клиента за дурию, – недавно случился кипеж на районе, и он был на стреме.

Я дружил с двумя сыновьями дяди Т, Тазом и Рубеном, с которыми познакомился в Марианском ДК, буром кирпичном здании в центре Южного Килберна, на музыкальной дуэли под названием «Битва миков» – я ее выиграл. В то время Т-Мобил заключали такие договора, при которых, если покупаешь месячный тариф, можешь бесплатно звонить на любой номер после шести вечера, и я в итоге уделал этого брателлу строчкой: «Твоя мама, старик, как Т-Мобил – после шести свободна гулять, где угодно». После этого толпу прорвало, и все стали так орать, что я уже не мог перекрычать их, а потом ко мне подошел Таз и сказал, ты ебанат, братан, слы сюда, чувак сколачивает группу, пилить такой музон, не хочешь вступить? и я такой, я в деле. Это был первый раз, когда я всерьез завис в ЮК – я тогда еще не жил у дяди Т, просто покупал у него траву и оттягивался прямо во дворе, в Блейк-корте.

Короче, через неделю после того, как я выиграл дуэль, мы стояли перед Марианским ДК, болтая о том, как одного участника, по имени Баши, поперли из ЮК в тот самый вечер. Солнце грело кирпичи и нас заодно, и Таз закатал футболку на правом бицепсе и показал мне татуху тасманийского дьявола с двумя дымящимися стволами, пояснив, вот поэтому меня зовут Таз, старик, – со мной лучше не шутить, ага; он процедил эти слова с каменным лицом. Он взялся организовывать рэп-дуэли в Марианском ДК, и мы ждали остальных участников. В то лето мы через день собирались на пару часов и просто чеканили наперебой рэп на новейшие граймовые ритмы – там были Злюка, Хищник, Мэйзи, Пучок, Рэйла, Смузи, Ганджа и я, – и Таз назвал группу «Секретная служба». Он был, по сути, нашим дедом, поскольку почти все мы были еще малолетками и хотели просто чеканить рэп, а Таз имел кое-какие виды на нас в музыкальном плане.

Таз был таким брателлой, с которым ты идешь по району, и он то и дело с кем-нибудь здоровается, его уважают деды, каждый второй кричит ему, йо, Таз, как сам, а он поднимает кулак и отвечает, да все путем. Бывало даже, мы натыкались на его знакомых за пределами района, типа, на Востоке или Севере, и он говорил мне потом, что закорешился с ними в тюрьме. Он не раз сидел. А еще ему все время названивали девки, и даже если он говорил с ними, как с грязью, они снова звонили ему, то есть в нем было что-то такое не только в плане внешности, хотя, наверно, мокрошелки не были к ней равнодушны; его кожа имела желтоватый оттенок, но, если он злился на что-то, она начинала гореть, словно кровь его реально закипала.

Один раз я оттягивался на районе с Тазом, курил косяк на балконе дяди Т, в Блейк-корте, и глядел вдаль, на заходившее солнце, плавившее горизонт и растворявшееся в надвигающейся темноте, и я сказал: вах, братан, гляди, отпадный вид, в кино была бы улетная сцена, скажи? Он едва взглянул на это и сказал, честно, Снупз, я бы за сто лет не заметил в этом ничего такого, просто кварталы и окна, не врубаюсь, о чем ты. Затем он сплюнул с балкона, спустился по лестнице и пошел в магаз, за сигами и «Ризлой». Но, когда мы с ним бухали и бывали на хате у телок или типа того, он ухмылялся с таким прищуром – особенно если мы дули шмаль, что мы, по правде, все время делали, – и говорил всем, что я его брат и никто не может гнать мне лажу. А когда я ему рассказывал что-то интересное, он такой, Хорош Заливать, словно в жизни не слышал ничего интереснее, то есть он умел дать тебе почувствовать себя кем-то, типа, особенным, и ты не сомневался в его словах или намерениях. Потом как-то раз, когда мы зашли к его бате купить дури, я услышал, как дядя Т называет его Тасван, и понял, что Таз – это уменьшительное от Тасвана, а не Тасманийского дьявола.

Рубен был его младшим братом. Все звали его Рэйла, он вечно улыбался, как безумный, а глаза сияли буйным огнем, и весь он кипел энергией, но улыбка скрывала тот факт, что его настроение могло вмиг измениться. Он никого не боялся и, хотя когда-то оттягивался со всей братвой квартала Д, толкал труд на районе и все такое, потом он с ними расплевался, и вот почему: как-то раз один из дедов сказал ему пойти в магаз, купить стружки, чтобы дед мог забить косяк, а Рубен сказал, ну нахуй, сам иди, я не какой-то посыльный, и дед ему такой, ты оборзел, что ли?! Рубен сказал, пососи свою маму, и дед хотел врезать ему, но Рубен схватил пустую пивную бутылку и бросил ему в голову, и все слышали удар, и Рубен убежал, хохоча. Дед не стал его преследовать, потому что понял, что Рубен не боится смерти, так что просто прокричал, смотри, достану ствол, словно собирался пристрелить Рубена. Никто на районе за Рубена не вступился, и он решил, типа, похуй, они все гады, и перестал зависать с ними. Когда же Таз стал мутить музыку, Рубен тут же влился, и хотя на спевках показывался нечасто, рэп чеканил, как угорелый, типа, полчаса без остановки, а затем молча исчезал.

Как-то мы ехали на район в двухэтажном автобусе после спевки и поднялись на верхний этаж, и Таз достал косяк, запалил прямо там и стал передавать по кругу, и дым поплыл над сиденьями, так что люди стали оборачиваться с нервным видом, а потом быстро вскакивали и спускались на нижний этаж, и мы все ощутили такой расслабон, что стали сворачивать и курить свои косяки, и скоро весь верхний этаж торчал в полный рост, все галдели от возбуждения, и глаза наливались кровью под натянутыми капюшонами. Потом водитель прочухал, в чем дело, и остановил автобус, нажав аварийную кнопку, и мы смылись, хохоча, пока металлический голос гудел: **ЭТОТ АВТОБУС ПОДВЕРГСЯ НАПАДЕНИЮ, ВЫЗЫВАЙТЕ 999, ЭТОТ АВТОБУС ПОДВЕРГСЯ НАПАДЕНИЮ, ВЫЗЫВАЙТЕ 999.**

Рубен съехал от бати, когда дядя Т нашел у него ствол и полную сумку пуль, за панелями в ванной. Таз съехал еще раньше, когда отмотал срок и перебрался в общагу для бывших эков. Но оба они по-прежнему были близки с отцом, и Таз частенько брал меня к нему, и мы там зависали, курили и слушали музон, а иногда дядя Т угощал нас жареными оладьями с соленой рыбой или своей знаменитой козлятиной с карри. Поскольку сыновья больше с ним не жили, у него освободилась комната, и когда я сказал Тазу, что родяки меня достали и я ищу жилье, он передал это своему бате, и дядя Т сказал мне, Снупз, комната тебя ждет.

Блейк-Корт

*Мы живем в этом отблеске –
да не угаснет он,
покуда крутится старушка Земля!
Но еще вчера здесь была тьма.*

Джозеф Конрад, «Сердце тьмы»

Дядя Т живет на верхнем этаже Блейк-корта, и это довольно стремное здание. В нем два главных входа, по одному с каждой стороны, а лифты часто не работают, но даже когда работают, в них ссут торчки, так что все равно приходится ходить по лестнице, а там повсюду сидят кошки на грязных бетонных ступенях, укуренные в хлам или ждущие толкачей, грязные, с обожженными губами, и нужно быть готовым дать отпор в случае чего. Короче, поднимаешься на пятый – этот дом из самых низких – и обычно видишь у лифта толкача, сбывающего кошкам темного и светлого, то есть герыча и крэка, или, как говорят местные, баджа и труда, или бурого и белого, или бренди и шампуня, или Бурку и Белку.

Первое время, когда я стал захаживать к дяде Т, я напрягался, потому что эти типы зырят тебе в глаза немигающим взглядом, как бы бросаая вызов, и это не просто кислая мина – такой взгляд вряд ли увидишь в других местах, – и иногда они стоят на верхних ступеньках, поджидая торчков, и не сдвинутся ни на шаг, чтобы дать пройти, так что нужно лавировать между ними, стараясь не задеть, ведь я был один, но пытался показать, что мне они до фени. Хотя мне не нравилось, что на меня так смотрят, прямо в глаза, вынуждая отвести взгляд, что чревато наездом, если они решат, что ты слабак. Но если не отводить взгляда, они решат, что ты берешь их на понт, а это еще более чревато. Жизнь жестока, такие дела. Иногда кто-то из них говорил, это еще кто? – громко и с угрозой, и только услышав, что я иду к дяде Т, меня оставляли в покое.

Короче, поднимаешься на пятый, выходишь через тяжелую магнитную дверь на балкон, слыша сзади лязг замка, и идешь вдоль дверей – некоторые заколочены после полицейских рейдов – под свисающими с потолка проводами, похожими на черные артерии, и постоянно мигающими лампами. С балкона видно слева восемнадцатизэтажный Диккенс-хаус, в котором жил несчастный Птенчик, а справа – Остин-хаус, те же восемнадцать этажей ржавой бетонной тишины и одинаковых окон, и все это подпирает небо, не пуская его на район. Часто на балконе зависает братва, и первое время, когда я сюда приходил, они оборачивались на меня, едва услышав, как открывается дверь, но потом они меня признали и стали, по большей части, игнорить. Среди них есть реальные соседи дяди Т, живущие через пару дверей от него, к примеру, Командир и Рико – братья, ставшие стрелками в семнадцать-восемнадцать лет, – я не раз видел, как они стоят на балконе, беспечно держа на виду волюны. Иногда Командир говорит мне, здоров, Снупз, он меня признает, слышал, как я чеканил рэп на дуэли в Южном Килли, но у брата его такие глаза, в которые не хочется смотреть – в глубине их застыло что-то такое, от чего у тебя холодок по спине, так что я просто говорю ему, здоров, чуя нутром его презрение ко всем чужакам.

Единственное время, когда ты всего этого не видишь, это по утрам, когда кошки отъезжают на бадже, а толкачи уходят покемарить после ранней смены. Но и тогда не избежать знакомых примет: сломанных лифтов, зассанных лестниц, иногда и засранных, битых закопченных бутылок, из которых торчки дуют труд, и обрывков оберточной пленки, шелестящих вниз по ступенькам.

Все это настолько каждодневные вещи, что я к ним довольно быстро привык. Кислые мины на балконе Блейк-корта, каменные лбы, глаза, налитые черным огнем. Братва толкает крэк на районе, грилзы с брюликами сверкают на черных лицах, словно падшие боги жуют звезды. Толстовки «Найк» и кроссовки «Луи Вьюиттон» за пятьсот фунтов, ремни «Гуччи» на джинсах «Тру-релижн», и заточки в карманах, а то и стволы – ты сразу это просекаешь, видя как минимум одну руку в перчатке, чтобы откреститься в случае чего, птушта отпечатки – это единственное, что им могут предъявить, так как здесь не бывает свидетелей, даже если все все видят.

Я привык к суровому базару, ночами разносящемуся над балконами, когда братва перетирает, как выбили зубы какому-нибудь брателле, или кто-то говорит, он заскулил, когда я пырнул его и провернул перо, прежде чем вынуть. Я привык ко всем кошкам и торчкам, обтирающим лестницы, словно упыри в бетонном склепе.

Прожив у дяди Т несколько месяцев, я стал своим на районе. Я иду и здороваюсь с отдельными головами, которых успел узнать, и с теми, кому я уже примелькался. Я выхожу на балкон Блейк-корта и киваю братве, и она чуть расступается, пропуская меня – в кармане всегда перо, птушта никогда не знаешь, когда вскипит дерьмо, – и бывает, я выхожу от дяди Т подышать воздухом и курю косяк на балконе, пока братва мутит свои дела.

Но все равно здесь тебя не оставляет чувство угрозы и стрема, пульс никогда не замедляется надолго, потому что в груди у тебя всегда отдается напористая и тяжелая поступь опасности, даже когда липкий запах травы давно выветрился из ноздрей. До тебя долетает эхо редких выстрелов, и ты знаешь, что это не петарды, а ночь прорезают синий свет и сирены, но ты уже не обращаешь на это внимания. Умом поехать, как можно жить в городе и никогда не видеть ничего из этого. Или ты просто замечаешь краем глаза отдельные обрывки, но даже тогда по-настоящему в них не веришь, потому что, пусть мы живем в одном городе, мой город и твой могут относиться к двум совершенно отдельным мирам. К примеру, ты слышишь о стрельбе на улице, по которой каждый день ходишь на работу – это отдельный пугающий случай, редкость, тема для разговора, и каждый отдельный акт насилия, о котором ты слышишь или читаешь, остается для тебя единичным случаем или как минимум вызывает удивление, если не шок. Но для других такие случаи не более чем повседневная реальность.

Только в таком месте братва может вставлять брюлики в зубы, чтобы понтоваться чем-то, словно с другой планеты. Это можно назвать королевством принцев и бандитов в бетонных башнях, хотя чаще принцы здесь те же бандиты, и пацаны поклоняются таким, как Багз Банни, поклоняются убийцам и толкачам, да и мой братан Готти был воспитан Банни и стал едоком.

Впервые я увидел Готти во дворе у Пучка, в Комплексе. Вообще-то впервые я его увидел на одном видеосе, ходившем по району. Его запилил один рэпер из Южного Килли, снимавший видеоклипы: там была нарезка тверкинга с жопастыми телками в клубе «Грезы» в Харлсдене и сцен с братвой из квартала Д. Снято было ночью, тусклый свет фонарей едва выхватывал людей из темноты. Братва оттопыривалась на камеру, кричала: «Квартал Д, хуем по пизде, свободу братве, феды – говноеды», – сверкая грилзами с брюликами, поднимая средние пальцы и тыча указательными, а камера подскакивала к серебристому граффити «Квартал Д» над входом на балкон.

Я тусил у Пучка после спевки Секретной службы в Марианском ДК, когда увидел этот видос. Мы смотрели его для фона, пока курили во дворе косяки. В нарезке квартала Д был момент, когда один брателла поднялся по лестнице и прошел перед камерой. На нем был черный кожаный бомбер и черная кепка, и он тупо уставился в камеру, словно застигнутый врасплох, сказал здоров оператору и вышел из кадра, совершенно не вдупляющий, что за движуха творится вокруг. И Мэйзи сказал, о черт, это Готти, зуб даю, он только вышел из тюрьмы после пятерки. Готти? Ну да, кузен мой. За что ему дали пятерку? Думаю, толкнул чо-нибудь, братан, Готти без башни, ему все похую, он всегда готов кого хошь грабануть. И Мэйзи рассказал,

как Готти ходил по району и обедал торчков на их хавку, а потом им же ее продавал. Он грабил их на выходе из здания, где они получали хавку, и по одному развел каждого кошака, внаглую, и сказал им, если думаешь сюда вернуться, не попадайся мне. Просто жесть. Еще один брателла, зависавший с нами у Пучка, сказал, да, Готти шустрый, помню, как они с Банни тряханули уорикских чуваков. Готти с Багзом Банни нагрянули в Уорик, построили вдоль стенки всю братву, какую встретили, и отжали у них все лавэ, мобилы, хавку, брюлики – и никто не стал выебываться. Банни держал братву в ежовых рукавицах. Конечно, при нем всегда был ствол, и все знали, за ним не заржавеет пустить его в ход, так что какой был выбор у этих чуваков?

Потом, когда я стал себя показывать, Готти услышал обо мне от Мэйзи и Пучка, но я даже не думал, что мы с ним будем творить всю ту жесть, какую творили вместе, и к чему все это приведет.

Муравьи

Когда мы были мелкими, у моего брата, Дэнни, был хомяк, который потом сдох. Мы всегда любили живность: документалки о природе были едва ли не единственными передачами, которые нам разрешала смотреть мама, – ну, не считая «Симпсонов». Когда хомяк сдох, мы были в Италии на каникулах, с родаками. В нашей лондонской квартире жил друг семьи, и он позвонил моему отцу и выложил эту новость. Нам с братом было по семь лет, и я помню, как мы ревели, когда узнали об этом.

Мы играли в таком большом саду, там было полно сосен, и отец вышел из-за дома, сказал, что случилось, и раскинул руки для объятий, а потом прижимал нас к своей груди, пока мы плакали. Когда слезы высохли, мы вернулись к игре с муравьями. Мы срывали с сосны кору, и муравьи, жившие там, выбегали из своих норок, и пока они бежали блестящими черными ручейками по гладкому красному стволу, мы их жгли. Мы придумали огнемёт из дезодоранта и зажигалки, которую стырили из маминой сумочки, и поджаренные муравьи корчились и осыпались с дерева тысячами. Когда мы пожгли всех муравьев, мы спустили штаны и поссали на дерево, утопив всех, кто там оставался, и смыв последние следы бойни. Наверно, это и есть пресловутая детская невинность или типа того.

Когда мы стали старше, я перестал ездить с семьей на каникулы, птушта летом мне хотелось только одного – остаться в Лондоне, чтобы попасть на Ноттинг-Хилльский карнавал. Дэнни давно решил, что все, чего он хочет, это играть на скрипке, а я хотел тусить на дороге с чуваками, дуть шмаль и врубаться во всякую жесть. В каком-то смысле он стал маминым любимчиком, поскольку не доставлял ей никаких неприятностей; она, наверно, считала, что с ним легче поладить. То есть они всегда как будто говорили на одном языке, а на меня мама вечно кричала и лепила оплеухи за какие-то проступки, и это меня вымораживало. Это причиняло мне боль где-то глубоко внутри, словно заноза, и чем больше я ее ковырял, тем глубже загонял и в итоге загнал так глубоко, что уже не мог достать. То есть, когда я ругался с Дэнни, это была жесть, реальная жесть, как в тот раз, когда мы сцепились из-за какой-то хуйни, и он стал говорить, что я ни к чему не стремлюсь в жизни, словно повторяя за мамой, и я не мог заткнуть его, так что схватил марокканский клинок, доставшийся маме от ее мамы, и приставил к горлу Дэнни. Но это не возымело эффекта. Он просто уставился на меня и сказал, ну давай, зарежь меня, вишь, ты не станешь, так что я треснул ему по башке, вернул клинок на полку и выкатился из дома, чтобы дуть шмаль на дороге с братвой, а домой вернулся только ночью, когда все спали, и тайком прокрался к себе в комнату.

Дэнни был не прав, когда сказал, что я ни к чему не стремлюсь. Не считая всех моих стараний избежать Нормальной Жизни – одна мысль о ней пугала меня до усрачки, – я намеревался поступить в универ. Мной двигала забота о собственном мозге. Я понимал, что свихнусь, если не смогу читать книг. Ребенком я быстро смекнул, как включать прикроватную лампу, не щелкая кнопкой, чтобы родаки думали, что я сплю, птушта я был повернут на чтении. Книги меня переносили в другие места. И я берег их. Книги ничем не заслужили, чтобы им ломали хребет, то есть я мог прочесть книгу, и она оставалась как новая. В школе я всегда балдел на английском, так что мое желание продолжить изучать его в универе было вполне естественным. На школьных экзаменах мне поставили О по английскому, но маму волновало только то, что я получил Н, то есть неуд, по биологии. Я не набрал даже минимальный балл на У. Результат был реально говенный, я даже не уверен, что ответил правильно хотя бы на три вопроса из всех, но мне было похую, я не собирался становиться биологом, мне не нужно было знать про фотосинтез, чтобы обеспечить свое будущее, – я, типа, считал, если умеешь ебаться, ты достаточно знаешь биологию, а ебаться я умел. Так или иначе, мама вечно меня доставала со своими ожиданиями и претензиями и ни разу не похвалила за О по английскому

и Х по истории, а только разорялась про Н, словно ничего важнее быть не могло. Так что это только придало мне решимости переехать к дяде Т, потому что рядом с мамой мне все время приходилось бороться за право быть собой.

У дяди Т я мог быть собой и никого этим не напрягать. Я привел с собой свою девушку, Йинку – полное имя Олайнка, что значит на йорубе, как она сказала, «меня окружает достаток», – мы стали жить вместе, и это позволило ей съехать от предков, тем более что она не ладила с отчимом. Мы с ней познакомились в одной нигерийской евангелической церкви под названием Дом Иисуса. Меня туда позвала знакомая – христианочка, которую я знал по дому творчества, хотевшая, чтобы меня спас Иисус или типа того, – и Йинку тоже привела туда подруга. Когда я ее засек, я подумал, ого, кто эта симпатная тень с янтарной кожей и глазами, словно омытыми солнцем, и мы всю службу переглядывались. Потом мы обменялись номерами и заскочили вместе в поезд до Западного Лондона, а когда я вышел на своей станции, она дала мне пинка под зад, так что я чуть не растянулся на платформе, и она громко рассмеялась. Мы стали встречаться, но в ту церковь больше не заглядывали. Мы то и дело боролись по приколу, и она вечно пыталась завалить меня, а поскольку она не курила, дышалка у нее работала лучше, и я делал вид, что борюсь вполсилы, хотя на самом деле думал, ого, эта деваха сильна, надо ухватить ее получше, а когда мне удалось завалить ее, мы сразу начали лизаться, и довольно скоро я стянул с нее джинсы и трусики и погрузился в ее влагу. Ей нравилось носить крутые бейсболки и треники «Найк», но они скрывали весьма пышные формы, и я стал без устали мять их, а она смеялась и говорила, что чувствует себя красоткой, а я ей, просто, ты такая Чуда.

Однажды, после траха у дяди Т, когда она сидела с растрепанными волосами и смеялась во весь рот, я впервые обратил внимание на крошечный скол у нее на переднем зубе, и она вдруг посерьезнела и сказала, опустив увлажнившиеся глаза, должна признаться тебе кое в чем, малыш. Она мне рассказала, как в детстве, пока ей не исполнилось двенадцать, ее все время домогался отчим, подкатывая по ночам к ее кровати, и ей приходилось отбиваться от него, а мама ей не верила, по сути, отмахивалась от нее, даже притом, что замазывала синяки у нее на руках и ногах перед школой, так что в тринадцать она убежала из дома и лишилась девственности – или того, что от нее оставалось, – с одним брателлой лет двадцати; ее детство кончилось, не успев толком начаться, и ее секрет ворвался в нашу комнату и вонзился мне в грудь, пока я слушал ее, прижимая к себе. С того дня мне приходилось носить это в себе, понимая невозможность что-то изменить, и это терзало меня вдоль и поперек – я признавал, что это засело в моем сознании навсегда, но что еще хуже, я не мог избавиться от этого. Понимаешь, какую бы хрень ты себе ни внушал о том, что прошлое должно остаться в прошлом или типа того, ты не можешь исправить того, кто сломан внутри. Сейчас расскажу...

Как-то раз одна девчонка, жившая дверей через восемь от дяди Т, молоденькая, хорошенькая и вся такая любопытная и шалопутная, как и положено, когда тебе четырнадцать или типа того, зашла одна в лифт, а за ней – три чувака, ждавшие толкача. Когда она вышла на нижнем этаже, какое-то время спустя, она была уже другим человеком, старше и без всей этой мишуры в голове, обычной для четырнадцатилетних девчонок. Она издала один долгий вопль, разнесшийся по кварталу до верхних этажей, а затем словно побежала догонять его по замызганной бетонной лестнице, домой, к маме. Я курил косяк на балконе и помню, как мать открыла ей дверь и молча втянула за волосы, затем выглянула в коридор, а из лифта вышли чуваки, только что поднявшиеся на верхний этаж, и они рассмеялись, а один из них сказал, так и так она шалава, и мать закрыла дверь.

Есть телки, заточенные быть плохими, так что могут и пером махать, поколачивать и избивать других девчонок, а если они хороши собой, тогда спутываются с самым плохим брателлой из всех. Может, дело в чувстве защищенности, надежности или хотя бы в каком-то внимании, в шмотках, брюликах, поскольку здесь все упирается в имидж, то есть такая среда к ним безжалостна, и если у тебя ремень «Гуччи» и новенькие кроссовки, и ухоженные волосы и ногти,

ты вроде как хоть что-то собой представляешь. То есть многие из таких телок ценят только крутых, они хотят мутить только с теми, кто барыжит и делает лавэ, и сверкает прикидом от «Гуччи» и «Луи», и часами «Балма». А самое главное, если твой мужик имеет статус – может, его имя на слуху, и его боятся на дороге, или он состоит в банде, или его старшие братья мутят что-то такое, и их репутация переходит на него, или он рэпер, и люди знают его по ютьюбу или типа того, – тогда никто на районе не станет тебя трогать. Не то что тех девчонок, которых дрючат на лестницах в этих жилкомплексах, где почти все ездят на лифтах; ободранные о бетонный пол колени, вырванные волосы, сдавленные всхлипы в каменной тишине или отсосы на замызганных лестницах – и я даже боюсь представить, сколько такого дерьма братва снимает на мобилы и рассылает повсюду. И в таких ситуациях обычно брателла всегда не один. Он всегда хочет, чтобы она дала и его братанам, и стоит ей оказаться одной в таком месте, у нее практически нет выбора, поскольку она для начала вообще не понимает, какого хера тут забыла, и начинает жалеть, что ее вообще сюда занесло, пусть даже брателла, который ей нравится, говорит, все ништяк, не гляди так, они мои братаны. Но потом ее бросают, братва начинает трепаться, ага, я ей вставлял, каждый чувак на районе дрючил ее. Каждый второй норовит затащить ее в подъезд, и когда до этого доходит, ей не остается ничего другого, кроме как свалить с района.

Опять же, есть насквозь хорошие девчонки, которые не поддаются обстоятельствам, не ведутся на брюлики и «Гуччи», противятся давлению, усваивают опасные знаки, привыкают игнорить братву, свистящую им вслед с балконов, когда они идут домой, учатся избегать ситуаций, из которых не смогут выбраться, и верят, что в жизни есть что-то большее, чем этот район с его статусами.

Йинка действительно хорошая девчонка, но ее жизнь была испоганена раньше, чем она смогла сказать, что жила, и хуже всего было то, что это случилось с ней не на улице, а дома. Если это можно назвать домом.

Иногда я лежу ночью без сна и представляю, как однажды подкачу к ее дому на крутом черном чоппере, с волыной, и когда выйдет ее отчим, я три раза пальну ему в башку и уеду. Я продумываю, как избавлюсь от улик, как обхитрю камеры, где брошу и сожгу чоппер. Когда такие мысли гложут мне сердце и внутренности, так что я не могу спать, я представляю, как в бешенстве врываюсь к ней в дом с тесаком и начинаю рубить ее отчима прямо по роже, пока он не поднялся с дивана, а потом бью по лицу ее мать и кричу, вот тебе за то, что дала ему надругаться над своим ребенком. Я всерьез намерен сделать это, но не говорю никому из братанов, потому что это слишком, я не могу сказать такое, не могу вынести, чтобы кто-то знал такое, ведь тогда они станут всякий раз думать об этом при виде Йинки, а я не хочу, чтобы люди думали так о ней, и при этом знали, что я еще не отомстил за нее. Так что я просто держу это в себе и покрепче прижимаю к себе Йинку, когда она плачет.

Как-то раз я рассказал об этом маме, когда заглянул домой забрать шмотки. Я надеялся, она предложит Йинке жить в моей старой комнате или типа того, тем более что мне не очень-то хотелось, чтобы она жила со мной в этом чумовом квартале в Южном Килли, но вместо этого мама стала тупо забрасывать меня вопросами о матери Йинки, типа, почему эта женщина ничего не сделала с этим, словно вообще не слышала, что я сказал, или думала, что у меня есть ответы. Я сказал, ей нужна твоя помощь, а мама – она сидела в постели с книгой – ехидно рассмеялась и сказала, почему ей родная семья не поможет, и я сказал, чего ты, нахуй, городишь, ты совсем не слышала, что я сказал? А она сказала, не смей говорить так с матерью, я не хочу, чтобы в моем доме жила эта девка, она тебе не ровня, она быдло, и тогда я сказал, ненавижу тебя, сука. Отец был на кухне и все слышал, так что он взлетел по лестнице, громко топая, в такт моему пульсу, схватил меня за голову, вжимая пальцы в глаза, и оторвал от пола, но я вывернулся и убежал в свою комнату, а он стал гоняться за мной, выкрикивая, НУ ВОТ, ВОТ ТАК, потому что его английский особенно сдает, когда он злится. Затем он вернулся в мамину

спальню, и они стали говорить обо мне на польском, что мне здесь больше не место. Я достал лавэ из обувной коробки под кроватью и выбежал на улицу.

Зато у дяди Т мы с Йинкой могли быть вместе. Мы могли делать, что хотим, и не обращать внимания на боль, потому что, какая бы хуйня здесь ни творилась, в смысле, в Южном Килберне, стоит тебе принять, что жизнь сурова – Южный Килли не устает напоминать об этом, – и ты сможешь примириться с любой жестью, поскольку уже знаешь, что в жизни такого навалом.

Девка

Я набираю моему корешу, Капо, который пойдет со мной в универ в сентябре, на авиастроение, птушта хочет быть пилотом, и, когда он отвечает, я говорю, йо, братан, мне нужно, чтобы ты достал мне эту детку. Он говорит, в смысле, девку?

Ну нет, я хочу 22-летку, даже если она голосистая.

Как насчет 38-летки? Она тут.

Ну, она мне по душе, но она вообще-то дико громкая, и с ней ничего не сделаешь, так что это не мой вариант.

Ха. У нее большой рот. Я слышал. Но я мог бы достать тебе девку.

Ага, девка – это вещь, она мне нравится, только я вообще-то хочу 22-летку. А 45-летки староваты для меня.

Ага, и у нее большой нос.

Ага, ну нахуй.

Попробую устроить, братан. По-любому, я хочу есть, так что попробую достать маковый рулет.

Вах, маковый рулет. Достанешь, да?

Ага, братан. Ну, по-любому, я в теме.

Лучше молчи. Просто набери мне, когда что-то разрулишь, но первым делом попробуй достать мне 22-летку – она прямо для меня. Если не выйдет, сойдет девка.

Больше ни слова, братан, говорит он.

Я говорю, порядок, братан, и завершаю разговор.

Наступает лето перед моим первым курсом, и я пытаюсь достать пушку. Все, кого я знаю, говорят, что могут достать пушку, или знают кого-то, кто может, но, когда я начинаю прозванивать людей, начинаются отмазки. С этим больше мороки, чем можно подумать. Плюс я хочу годную вещь, не самопал, который по факту реплика или списанная волына, просверленная, чтобы палить настоящими пулями. Такая срань может рвануть в руках. Я знаю одного чувака, лишившегося указательного пальца после того, как он приставил самопал к чьей-то башке и спустил курок, но ствол оказался просверлен неправильно – слишком узким для гильзы. Пуля застряла, и эта хрень фактически рванула, разорвав чуваку палец и ничего не сделав тому брателле, которого тот хотел грохнуть, – разве только заставила поверить в Бога или типа того.

Короче, я на кухне у дяди Т, забиваю косяк, и вдруг звонит Таз и говорит, Снупз, есть на примете годная вещь, одна цыпочка держит для меня, в Криклвуде.

Это годная вещь, братан? Не самопал? Я еду.

И он такой, не, не самопал. Хочешь, поедem, посмотришь.

Я курю косяк и жду, пока Таз приедет в Южный Килли. Я недавно прикупил кокса и начал сбывать понемногу, так что, прежде чем выйти, я принимаю меры, чтобы никто его не стырил. Заворачиваю порядка десяти грамм в конвертики из лотерейных билетов, как показал мне Таз – птушта так принято на рынке, – и закатываю в целлофан, который пихаю себе в межжопье, на всякий пожарный, если станут шмонать по дороге, что всегда возможно. Приятного мало, но я к этому привык, как и ко многим вещам.

Почему я в основном решил достать волыну, это из-за того, что случилось в конце апреля. Таз устроил тусу в ДК на Хэрроу-роуд, и я читал там рэп со своими корешами. Мой братан Злюка, кузен Таза, стоял на входе и не пускал на тусу отдельных чуваков из Южного Килберна. Но главное, как он с ними говорил, словно с посторонними. А туса накрылась, поскольку один рэпер распылил перцовый спрей, так что все стали кашлять, задыхаться и ломиться на выход – и все потому, что кто-то попытался пырнуть его на сцене. Каждая туса на районе,

на какой я был, накрывается рано, птушта кого-нибудь пыряют, или фигачат бутылкой, или стреляют. Такого всегда ждешь. Собери в одном месте братву с Хэрроу-роуд и Гроува, с Кенсал-грин и Южного Килберна, и с других районов – и между ними по-любому будут терки, так что... В общем, следующее, что я вижу, это как Злюка пятится в Центр Яаы Асантевы, держась за лицо, пока все высыпают наружу, и кровь течет между пальцев. Один чувак схватил его намертво за шею, а другой хорошенько разукрасил. Тот, кто бил его, носил здоровые перстни с камнями и рассек Злюке лицо. Я был сам не свой, типа, ого, это реальный беспредел. Признаюсь, я дико проникся к Злюке после того, как нас отмудохали феды в мясном фургоне, когда нас стопанули и стали шмонать в Харлсдене. Так что я не мог спустить это на тормозах. Я сказал Тазу, охуеть, эти чуваки вскрыли лицо твоему кузену, нам надо немедленно метнуться к ним и что-то сделать. Таз стал очковать, но надо учитывать, что мне было тогда девятнадцать, а Тазу – двадцать пять, и ему, как старшему, было видней.

Мы поехали в Южный Килберн. Чуваки, сделавшие это, жили всего через несколько дверей от дяди Т – это были братья Командир и Рико. Пока мы шли по балкону, Таз сказал, как лучше сделать? У него была пустая бутылка, так что я сказал, просто стучи в дверь и, как откроют, нечего рамсить, хуярь бутылкой по ебалу. Таз постучал в дверь, и нам открыла девочка и сказала, что их нет дома. Тазу явно полегчало. Потом, когда до меня дошло, кто это были – одни из главных чуваков квартала Д, которые запирали свои балконы и не выходили без стволов, – я понял, что нам крупно повезло. Они бы только так нас замочили. Затем мы пошли навестить Злюку в больнице Св. Марии, и хотя пол-лица у него опухло, а под глазом лиловел глубокий шрам, он был спокоен. Не менее чудным было то, что там же, в неотложке, лежали два других рэпера, которых пырнули рядом с той же тусой. Вот тогда я и решил, что мне нужен ствол.

Когда Таз заезжает за мной, чтобы ехать за стволом, солнце вовсю печет, и в воздухе кружатся мошки. Я не поддеваю треники – обычно я это делаю, чтобы удобней нычить товар, – птушта жарится. По пути к лифту я прохожу сквозь рой мошек и думаю, что их буйный танец никак не предвещает их скорой смерти. Пытаются урвать от жизни все, что могут. Воздух прорезает едкий запах от кучи мусора, наваленной под знаком с надписью: СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ОСТАВЛЯТЬ ОТХОДЫ В ЭТОМ МЕСТЕ. Я нажимаю кнопку лифта, а когда раздвигаются дверцы, вижу на полу лужу мочи. Я спускаюсь по лестнице, хоть и понимаю, что наверняка наткнулся на пару торчков, сидящих на ступеньках, дующих шмаль или ждущих труда и баджа.

Я заскакиваю в коня к Тазу, и мы едем в Криклвуд. Я спрашиваю, что за волына, но он не знает, это не самопал, это реальная вещь, верь мне, говорит он. Мы паркуемся вблизи здорового домины, за деревьями, частично закрывающими нас. Таз набирает девчонке и говорит, ну, детка, я на подходе, давай, вынимай его. Повернувшись ко мне, он говорит, посиди здесь, Снупз, вернись минут через пять, затем выходит из тачки и идет в здание.

Через пятнадцать минут он выходит со спортивной сумкой «Джей-ди» и, когда садится в коня, ставит ее на пол, мне в ноги, и говорит, открой и проверь, братан.

Я натягиваю перчатки – всегда беру с собой на всякий случай – и открываю сумку. Ствол завернут в старую рубашку. Первое, что я вижу, развернув его, это ржавчину. По всему стволу. По всей рукоятке. Желто-бурые разводы по матово-синему металлу. Шозахуйня, Таз? Он же ржавый, к чертям.

Проверь его, братан, проверь, говорит он, морща лоб и глядя в окно.

Я пытаюсь передернуть ствол, но он так заржавел, что не движется. Затем я замечаю, что часть курка отбита.

Ебать, эта хрень даже не пальнет, братан, говорю я и, завернув обратно, бросаю в сумку и протягиваю Тазу. Таз ничего не говорит, выходит из тачки и идет в здание, а я думаю о том, как деды втирают лажу младшим, особенно когда пытаются делать вид, что все знают, что у них

все связи, что сам ты никуя без них не сможешь. Но это сплошное гонимо. Деды на самом деле боятся, что молодежь обойдется без них. Потому что все, что тут нужно, это немножко наглости; нужно просто быть поглубже, более безбашенным, самоуверенным, и тогда о-па – ты получаешь репутацию без всяких регалий от дедов. Сделай сам свое имя, и они тебе будут не нужны. Ты всегда можешь сам завести свои связи, особенно когда покажешь себя и братва начнет видеть в тебе проблему.

Таз возвращается в тачку и начинает говорить об этой телке, типа, пизда тупая, ствол ей достался от брата, но она его ни разу не смотрела, говорит, не знала, что он ржавый. Очевидно, Таз устроил ей взбучку.

Кто она вообще? – спрашиваю я.

Просто одна телка, которую я окучиваю, говорит Таз.

Не успеваем мы отъехать, Тазу звонит женка; я не слышу, что она говорит, но Таз начинает кричать, да хватит, млять, что вот ты вечно... Не твоя забота, где я, сказал же, я со Снуп-зом, у нас дела. Она, очевидно, пытается что-то добавить, но Таза прорывает, и он в итоге говорит пока-пока-пока и убирает мобилу. Ненавижу, блядь, когда она меня вызванивает, говорит он.

Что до меня, я блядством не увлекаюсь; не могу окучивать телок, умасливать их, называть детка, зная, что моя женка будет страдать по мне. То есть да, я все время флиртую с разными телками, но в моей постели и в моем сердце есть место только Йинке. Но если по правде, я не знаю, чего на самом деле хочу от женщины. Иногда меня доканывает, как Йинка вечно удивляется на всякую хрень, что я ей рассказываю, вместо того, чтобы сказать мне что-то о мире, чего я не знаю. Ужасная штука, любить кого-то, кто ничему не может научить тебя. Иногда мне просто хочется плохую суку, которая будет класть мой ствол себе под подушку. А иногда – девчонку, которая читает заумные книжки и рубит во всякой прикольной хрени, типа магии или ацтекских жертвоприношений, и не залипает на плохих парней. Я знаю, Йинка не хочет, чтобы меня поглотила улица, но она на это смотрит так, что любая шняга с девяти до пяти будет лучше. Ну нахуй. Я не собираюсь переделывать себя в того, кем не являюсь.

Тазу звонит его брателла, Кейн, и говорит, что у него кокс, который он хочет сбыть мне, и Таз говорит, что мы едем в Уиллесден.

Я пишу Йинке смс «Мысленно с тобой» и выключаю звук в мобиле.

Мы приезжаем в Уиллесден, и Кейн заскакивает в коня, говорит, здоров, и просит Таза забрать его брателлу, Даффи, от парикмахера, и добавляет, как Даффи не терпит показывать себя, устроить какую-нибудь жесть. Кейн просто зверь, из тех братанов, кто ничего не боится, кто любит махать, а он здоровый и качок, что делает его крайне опасным. Он авторитет, притом, что полукровка, глаза у него, как осколки зеркала, и он шепелявит. Вечно бухает, что покрепче. Ему вечно шестерят братаны, ищущие его одобрения. Я столько раз видел, как он посылает кого-нибудь за бутылкой – за чем-нибудь недешевым, типа «Курвуазье» или «Хенни», – и выпивает все в одно горло. Но братан, купивший бутылку, не возникает, только поглядывает на бутылку в руке Кейна, очкуя сказать что-нибудь, чтобы не попасть под раздачу. Когда Кейн услышал, что я решил достать волну после того, как отпиздили Злюку, и настроен серьезно, он прямо вспылал ко мне.

Мы подъезжаем к парикмахерской. Даффи заскакивает назад, к Кейну, с недовольной рожей. Не сказав нам ни слова, он снимает темные очки и начинает базарить с Кейном.

Я сижу на стрижке, говорит он, и тут заходит черный хрен, типа бразильца, и пытается впарить мне «Ролексы» – липовые, ясен пень. Они даже с виду лажовые, так что я говорю, отваливай, чтобы стричься не мешал, а этот хрен мне рот затыкает. Я тогда ему, может, выйдем, разберемся, а он дает задний ход и на выходе зыркает на меня и говорит, хоть когда, ганста. Истая жиза, я его уебу, типа, видал его в гробу.

Даффи иногда забавно выражается и вечно прибавляет «истая жиза», для большей убедительности.

Йо, Таз, говорит он, рули на Чарч-роуд.

Мы приезжаем на Чарч-роуд, и Даффи говорит, йо, вон тот хрен, мы тормозим, и он выскакивает из коня. Кейн выскакивает следом, и они подбегают к этому долговязому черному брателле со спортивной сумкой, и Кейн бьет ему в табло, чуть не сбивая с ног, но брателла опирается рукой о бордюр и снова встает. Он уклоняется от кулаков Даффи, а Кейн вырывает у него сумку и чешет по дороге, в сторону Уиллесдена. Кругом люди – пара ямайцев постарше и сомалийские брателлы, – и Кейн начинает раздавать им липовые «Ролексы» в упаковках. Полюбому, никто не станет звонить федам. Это же Чарч-роуд. Затем Кейн с Даффи заскакивают обратно в коня, и Даффи говорит, давай назад мимо парикмахерской. Таз разворачивает тачку.

У парикмахерской Даффи открывает дверцу со словами, вон он, и Таз притормаживает. Я вылезаю и припускаю за Даффи, птушта не хочу ничего упустить, и раз уж я катаюсь с этим чуваком, я его прикрою. За мной бежит Кейн.

Бразилец идет по другой стороне Уиллесденского большака и видит погоню. Даффи стягивает посреди улицы футболку и перебегает дорогу, крича, истая жиза, истая жиза. Бразилец оглядывается в поисках оружия, подбирает из водостока пустую бутылку и, когда Даффи к нему подбегает, одним махом разбивает ее о бордюр и полосует Даффи. Даффи в последний момент уворачивается, и брателла рассекает ему спину и бросается прочь.

Я подбегаю к Даффи, стягиваю толстовку и прикладываю к рваной ране на его спине. Кровь так и хлещет, и я покрепче прижимаю толстовку к спине, держа братана.

Даффи такой, я в порядке, в порядке. Кейн бежит по улице, пытаюсь догнать чувака. Я бегу за ним, и мы замечаем кирпичи, выпавшие из старой стены, и подбираем их, но бразилец успевает скрыться за углом. Подкатывает Таз в коне, и мы с Кейном заскакиваем назад. Даффи обвязывает спину моей толстовкой и садится спереди.

Где ты был, Таз? – говорит Кейн, а Таз усталился перед собой, наморщив лоб, как когда я сказал ему, что ствол ржавый, и говорит, я был на месте, в коне, я был на месте.

Закрой варежку, что ты был на месте, говорит Кейн. Тебя нигде не было. Вот, Снупз был на месте, с чуваком, а ты нихрена не сделал.

Даффи поворачивается ко мне, стучит в кулак и говорит, уважуха, ганста.

Как иначе, брат, говорю я.

Езжай, блядь, мимо сквера, Таз, какого хуя ты творишь? – говорит Кейн.

Таз закусывает губу, и тачка съезжает с Уиллесденского большака на боковую.

Кейн сует свой кирпич под сиденье Даффи, я свой – под Таза. И Кейн расстегивает спортивную сумку. Там машинка на пульте управления в коробке и три липовых «Ролекса» в футлярах с серебряной эмблемой «Ролекс» сверху.

Ё-моё, тут даже ничего серьезного, говорит Кейн, скривившись, словно от вони, и застегивает сумку.

Мы проезжаем мимо обшарпанных кирпичных домишек за поломанным штaketником, с чумазыми окнами и белыми занавесками, словно найденными на помойке. Мы проезжаем через туннель, ведущий к Гриффинскому тупику и скверу, и вдруг Таз бьет по тормозам, птушта перед нами выскакивает телега с синей мигалкой. И тут же сзади подкатывает мясной фургон, блокируя нас, и из фургона вылазят шесть окороков с дубинками, крича, СИДЕТЬ-БЛЯДЬ-В-МАШИНЕ НЕ-ВЫХОДИТЬ РУКИ-НА-ОКНА РУКИ-БЛЯДЬ-НА-ОКНА.

Они окружают коня, и, когда мы кладем руки на окна, они открывают дверцы. Нас по одному вытаскивают. Меня пихают к низкому кирпичному заборчику, лицом в кусты, в глазах мельтешат зеленые точки и пыль, руки мне резко заламывают и надевают браслеты. Слева стоит Таз, тоже лицом в кусты, тоже в браслетах. Фед говорит мне, ноги раздвинул, и я расставляю ступни пошире, а он мне, ноги, блядь, раздвинул, и пинает под левую булку, заставляя

до предела отставить ногу. Я с трудом стою, и тут сердце мое падает в змеиную яму, птушта я чую, как шарик с коксом выскочил из жопы и скатился по левой штанине. Ебать-копать, меня загребут, меня загребут, и клянусь, я почувствовал, что куст пахнет бензином, все эти зеленые листочки, царапавшие мне лицо. Словно я вдруг понял, какое все кругом уродское и грязное – даже небо показалось изгвазданным, а солнце точно нарыв, – и мне просто захотелось испариться. Меня начинают обхлопывать, прощупывают вдоль швов джинсов, хватают за яйца, ощупывают грудь и бока – блин, он не нащупал, не нащупал, только не щупай внизу штанов. Я замечаю еще одну телегу рядом с фургоном, с двумя федами, а на заднем сиденье вижу бразильского брателлу. Он указывает на меня и Таза, говорит что-то одному из федов, и фэд говорит, те двое не участвовали в ограблении, указывая на меня и Таза. Бразилец указывает на Даффи и Кейна и говорит что-то еще.

В этот момент я понимаю, что мячик с коксом скатился по штанине, зацепился за самую кромку и еле держится, а фэд пропустил его, птушта начал от лодыжек и пошел вверх, когда нычка уже выскочила. Мне надо двигать отсюда, двигать-двигать-двигать, но без всякой спешки, без больших шагов, чтобы нычка не выпала, иначе точно загребут.

Фэд, который меня шмонал, снимает с меня браслеты, и я вижу, как Даффи и Кейна арестовывают – вам ничего не нужно говорить, но это может повредить вам в суде, – Кейн смотрит на Таза, словно хочет что-то сказать, но что именно, я не знаю. Фэд снимает браслеты с Таза, и Таз, стоявший тихо все это время, кривит рожу и начинает залупаться – ебучие феды, вечно доебываетесь, птушта я черный, ага, вам, козлам, только повод дай, – и фэд говорит, на арест нарываешься?

Я говорю, Таз, кончай, они нас отпускают, сматываем удочки.

Но Таза несет, и он такой, я знаю, но всякий раз, как они, блядь, завидят кого, они начинают доебываться, всегда одно и то же с этими ебучими легавыми.

Эй! я тебя предупреждаю, говорит полисмен. Еще одно слово, и ты загремишь.

Кейн выглядывает из открытой дверцы фургона и говорит, сбавь обороты, Таз.

Таз говорит, идийотство, блядь, какое-то, глядя себе под ноги и потирая запястья.

Мы идем к коню, я почти ползу, чтобы не выронить мягкий шарик, держащийся между лодыжкой и кромкой левой штанины. Только сев в коня, я могу дышать нормально, и пульс замедляется. Я вынимаю шарик, пахнет он зверски, и нычу обратно.

Через пару дней я сижу в номере «Холидэй-инна» на Килбернской большой дороге. Со мной один чувак с юга, которого зовут Снайпер, окучивающий сестру Грима. Грим – мой братан, и он фактически один из крутейших рэперов северо-запада, а то и во всем Лондоне. Но, как это часто бывает, его жизнь не похожа на его лирику, в которой он вечно при стволах и кого-нибудь мочит. Все равно я его обожаю. Хотел бы я пилить такие тексты. По-любому. Он познакомил меня со Снайпером, когда зависал у сестры в Килберне – набрал мне и сказал, подруливай сюда, я тут с сеструхой и ее парнем. Свояк свояка – так мы со Снайпером и познакомились. Он словно увидел что-то в моем взгляде, услышал в голосе и понял, что я знаю кое-что о жизни. Снайпер настоящий стрелок с юга. Он состоит в ПКД, а это в наше время – одна из крутейших южных команд, одна из крутейших в Лондоне, без базара. Короче, мы познакомились через Грима, выкурили пару косяков и не только, обменялись номерами, и в следующий раз, когда Снайпер приехал в Килберн, он позвонил мне и сказал, йо, брат, заглядывай ко мне в Холидэй-инн, если свободен.

У Снайпера в номере шампунь и бренди на столе. Пока мы курим косяки, а над головами у нас клубятся сизые нимбы, я рассказываю всю эту дикую историю с Даффи и Кейном, и Тазом.

Мой кореш в этом вообще не рубит, говорю я. Не смог даже достать мне годную вольту.

Я это могу, брат, говорит Снайпер.

Богом клянешься?
Жизнью мамы, брат. Хочешь девятку, да?
Ага, братан. Или двадцать второй, на крайняк.
Дай пару деньков, и я тебе звякну.

Через пару дней звонит Снайпер.
Йо, кореш, говорю я, что хорошего?
Ага, кузен, все путем. Слушай, 22-летку я тебе не достану, но другая у меня.
Зуб даешь? Какая?

Девка, кузен. Две с половиной штуки. И она тихоня. При ней, типа, десять карамелек в пенале.

Ни слова больше, брат, говорю я. Бери ее с собой, лавэ у меня при себе.

Вот так в итоге у меня появилась своя волына, свой ствол, свой карабин. Звезда 9-мм с глушителем в комплекте и десятью пулями в обойме. Теперь я готов мстить, если придется, я могу сам диктовать условия, если нужно, я могу сам за себя постоять. И по-любому, не стану врать, одна из главных причин, зачем я хотел пушку, это чтобы просто узнать, каково это, стрелять в человека. Один раз. По-взрослому.

У Тамики

*Лучше выну меч;
и, если враг, как я, меча боится,
он тут же одуреет.*
Уильям Шекспир, «Цимбелин»

Я засыпаю у Тамики, сидя в кресле, и, хотя джинсы на мне только из химчистки, они уже пропахли шмалью, которой прокурена хата.

Когда я заимел ствол, Кейн познакомил меня со своим братаном, Недобрым. Недобрый услышал, как я чеканю рэп на ритм, гремевший из коня, когда мы стояли на парковке в одном квартале на Чарч-роуд.

Кругом рамсят быки, решая, кто у них пахан,
А я с прибором клал на весь их балаган,
Суровый северо-запад сделает вас на раз-два,
Моя исламская братва сожрет вас даже в рамадан.

Ну, ты ебанат, сказал он. Зачем ты тусишь с этим фуфелом, Тазом?

Недобрый. Волосы зачесаны точно черный костер, а лицо – гордость Древнего Египта. Глаза у него не смеются. На левом бицепсе толстый шрам, след от ножа. Когда перо вошло, говорит он, я такой, ты чего хочешь, старик? Разве не знаешь, так никого не убьешь? Затем я вытащил перо из руки и показал ушлепку, как надо делать.

Первый раз, когда мы загусили вместе, по телеку показывали бокс. Там был белый боксер против черного, и когда черный брателла стал месить противника, Недобрый сказал, молочко никогда не побьет меланин. Затем посмотрел на меня и сказал, Снупз, ты уверен, что не полукровка?

Он из числа дедов северо-запада, вечно на своей волне, что-то мутит, и при нем пара пацанов, которых он посылает творить всякую жесьть. Когда он на мели, он набирает кому-нибудь, у кого хавка, и просит принести кусок побольше, а потом посылает пацанов грабить брателлу, чтобы не платить самому. Он знал, что я в деле, тащился от моего рэпа и ценил мою прямоту. И все же я не хотел костерить Таза только потому, что его костерил Недобрый, пусть он и видел, что Таз упал в моих глазах после той хуйни с волыной, к тому же Кейн ему рассказал, как Таз нихуя ни сделал, когда Даффи порезали. В общем, все лето Недобрый то и дело звал меня, и я ехал в Уиллесден оттягиваться с ним и дуть шмаль, и частенько с нами бывал Кейн.

Короче, мы стали оттягиваться на хате между Доллис-хиллом и Уиллесденским большим, где живут эти три ямайские сестрички: Тамика, Марсия и Стефани, которой тогда было семнадцать.

Мне приходилось прилагать усилия, чтобы понимать их речь. Тамика вся в пирсинге: язык, губы, нос, бровь, левая щека, а на голове у нее такой яркий блондинистый хохолок, словно ему хочется уползти куда-нибудь и тихо умереть. Недобрый, Кейн и я зависаем там, типа, уже неделю: ночью спим, днем дуем шмаль и бухаем. В какие-то ночи Недобрый и Кейн уходят наверх с Марсией и Тамикой. В другие ночи все слишком упарываются, и начинаются терки – Тамика и Недобрый громче всех кроют друг дружку, пока их не разнимут Кейн и Марсия. В итоге Недобрый и Кейн спускаются и просто отрубаются на одном из диванов, пока я сижу в кресле, а младшая сестричка, Стефани, сидит на лестнице, уткнувшись в мобильник.

Что нам здесь на самом деле нужно, так это надежная хаза. Мы стали шмалить не по-детски. У меня лавэ, а Недобрый знает, как достать большую хавку, и знает всех, кто толкает дурь на районе, и хочет быть в доле. Короче, мы замутили схему. Достаем пару коробок – два кило амнезии – и делим на кусочки поменьше. Клиенты паркуются за углом от хаты Тамики, и Недобрый или я выходим, сбываем хавку и получаем лавэ. Выручку делим поровну.

Тамика и Марсия пытаются подсунуть мне младшенькую.

На ж те нрайца, да? – говорит Тамика. Нихота с ней метела, Снупз? Мне ж вида, кой ты латкигаткий, такичо, нихота метела с моя млатла сестра?

Я смеюсь и говорю, ага, я поймею с ней дело, но только по взаимному согласию, а я с самого начала просек, что ничего такого не пробуждаю в Стефани. И дело не в том, что она такая скромница, хотя рядом со старшими сестрами она пипец какая тихоня, все время готовит или играет в мобильник и молча курит косяк. Вечно сама по себе, ни во что не вникает. Затем Тамика заводит свою шарманку о том, что ты ж имеш лишни тенки, что те стоит приклитет за моя млатла сестра, ты же мож купит эй тин-тва чинса и ремень «Гуччи», ведь мож? И я думаю, этим балаболкам только палец дай. И говорю, я лавэ свое ни на кого не трачу. Даже если пойдем в «Макдак», я ни за кого из вас платить не стану, даже бутер не куплю, серьезно. Она говорит, даже бутер? Даже бутер, говорю. Она холодно смотрит на меня, и я замечаю у нее ярко-зеленые контактные линзы, а затем говорит, не нрайца ты мне, Снупз. Она берет со стола пустые бутылки «Хеннеси» и швыряет в ведро, нарочито шумно, а затем топает на кухню и раскуривает косяк. В комнату входит Марсия, типа, что сулчилас? Тамика начинает тараторить своим надтреснутым голосом, и все, что я могу разобрать, это, что его говори, его не купи мы ваще ничо в «Макдоналдс», а затем она снова смотрит на меня, всасывает воздух и идет наверх.

Той же ночью вспыхивает ссора между ней и Недобрым. Он спускается и говорит, ну нахуй, Снупз, надо искать другую хазу, и принимается названивать кому-то, пока я отъезжаю в беспокойный сон, полный всякой хрени.

Утром мы складываем всю оставшуюся хавку в спортивную сумку «Найк», запрыгиваем с Кейном в коня Недоброго и уезжаем. Мы находим хазу на кухне в одном доме на Чарч-роуд – хаза-чумаза, как говорит Недобрый, – и я зависаю с ним и Кейном, и коробкой дури, расфасованной в ожидании клиентов по четвертушкам с половиной, завернутым в пленку. Мы знаем, хавка разойдется быстро, птушта она чистая, почти без сора, а шишки сочно-зеленые и толстые, покрытые оранжевым пушком и перисто-белыми кристаллами, хрустящими при поджоге. Пару шишек мы отложили для примера. Когда Недобрый закуривает косяк, я говорю, вах, нехилый духан, и даже Кейн, который не курит, говорит, ебануться, отпад, и открывает окно.

Хаза принадлежит одной цыпе, знакомой Недоброго, и он говорит, она уехала на пару дней к тете, но кухня выглядит так, словно здесь сто лет никто не живет. Плита заросла темным жиром, а стена за ней изгваздана масляными брызгами. Кейн открывает холодильник и говорит, вах, что курит эта цыпа, поскольку там только два сморщенных перца и початый кусок дешевого рыжего сыра, похожего на пластик. На дверце магнетик из Амстердама, с большим конопляным листом на фоне канала, а под магнетиком меню китайской забегаловки. Пониже магнитная рамка с фоткой пацанчика в школьной форме, с щербатой улыбкой, но фотка перевернута и вся заросла грязью.

Когда мы только вошли, я заметил гостиную, пока Недобрый не успел закрыть ее – там повсюду валялись шмотки и кеды «Найк», туфли и ремни «Гуччи», и фен, и детальки «Лего», и упаковки от еды, – и мне отчетливо представилась эта деваха. Из тех, что говорят, извини за бардак. Из тех, у кого пустой холодильник, простыни не стираны, место работы из профиля Фейсбука штатная мамуля короля хэштег босс сука. Из тех, у кого ребенок не спит хоть всю ночь, но у него в комнате телек, так что он нам мешать не будет. Такой типаж.

Кейн открывает бутылку «Хенни», выливает чуток на пол кухни и говорит, за павших солдат, и я знаю, что каждый из нас представил такую эпитафию на своей могиле.

Недобрый базарит по мобиле и говорит, Снупз, сходи скинь одну четвертушку моему корефану, он уже ждет. Увидишь, в белом «мерсе», у детской площадки. Я беру одну упаковку, сую в передний карман толстовки и выхожу.

Сколько я ни бывал здесь с Недобрым, ни разу не видел, чтобы кто-то играл на площадке. Только ветер покачивает пустые качели над безмолвной щебенкой. Поскольку сейчас лето, кажется, что солнце выжгло здесь все. Я сбываю хавку, беру лавэ и иду назад.

Когда я поднимаюсь по лестнице, навстречу мне спускается брателла в красном кожаном бомбере, на шее цепь из белого золота с Дональдом Даком в брюликах. Мы пересекаемся на лестничной площадке, и он такой, йо, ты к кому, старик? Я останавливаюсь, смотрю на него и говорю, а тебя ебет? Он смотрит на меня с каменной рожей, не моргая, словно зомби со стажем, и говорит, это мой квартал, старик. Я говорю, дальше, блядь, что? Я тебя не знаю, старик. Я иду дальше по лестнице. Он за мной, типа, ну-ка, стой, нахал. Со мной уже было такое в этом квартале. Я дохожу до верхней ступеньки, всасываю воздух и говорю, не отставай. Я иду по балкону к квартире и слышу, как брателла идет за мной. Он говорит, хули ты уходишь? Не строй из себя крутого. Я оборачиваюсь, и он такой, кто ты, блядь, такой? А я ему, а тебе-то, блядь, какое дело? Ты меня не знаешь, старик, я ничего не должен тебе говорить. Но после этих слов он сует в штаны правую руку в черной перчатке «Найк» и вынимает черный ствол, 9-мм, весь такой потертый. И я жопой чую, он уже стрелял в людей. Я ощущаю некую силу, от которой мое сердце хочет вырваться из груди. Когда видишь пушку в кино, это прикольно, это просто вещь, всем известный реквизит. И когда ты представляешь, что бы ты сделал, оказавшись под прицелом, ты всегда упускаешь один важный момент, а именно ощущение того, что ты лицом к лицу с силой, которая может вмиг оборвать твою жизнь. И почему-то именно в тот день я оказался без волюны. Но где же она? Надежно лежит в обувной коробке под моей старой кроватью у мамы на хате. Ебать-копать.

Ну, что теперь скажешь, ганста?

Я слышу, как за спиной у меня открывается дверь квартиры, и выходят Недобрый с Кейном. Недобрый обходит меня, обдавая травяным духом, и говорит, ой, Смек, ладно тебе, он со мной, мой юный ганста, он молоток, и кладет руку мне на плечо, как бы отводя в сторону. Я начинаю двигаться к двери, видя через плечо, как брателла сует волюну за пояс со словами, знаш, не нравится мне, как держится этот хрен. Я оборачиваюсь и говорю, что, блядь, это значит, не нравится, как я держусь, старик? Недобрый такой, ладно тебе, Снупз, просто иди на хату. Кейн кладет руку мне на спину, говорит, давай, ганста, и направляет меня в дверь.

Я сажусь за кухонный стол. Кейн хватает бутылку «Хенни» и доливает себе в стакан, а затем хлопает входная дверь, и в кухню входит Недобрый. Нельзя тебе так держаться, Снупз, говорит он, это Смекман, он тут реальный пахан, мог бы на месте тебя замочить, а я ему, да мне похую, кто это, и Недобрый такой, ш-ш-ш, аж посинел, словно хотел сдуть мои слова, как пыль, и говорит, старик, лучше надейся, что он тебя не слышал. Кейн встает, подходит к окну и закрывает. Недобрый говорит, ты не знаешь, на что этот хрен способен, ему тока девятнадцать, а он уже держит в страхе дедов, в одиночку залазит в хаты, связывает молодых мамочек и насилует, и всякое такое, а потом ждет хозяев и забирает все их лавэ и хавку. Поверь, он, в натуре, безбашенный. Я смотрю на шишку, которую начал мять, чтобы забить очередной косяк, и говорю, откуда мне было все это знать? И вообще, скажешь, пахана этого пули не берут? Я прям шас пойду, братан, и возьму свою «Звезду-9», как нечего делать. Недобрый говорит, остынь, Снупз, я знаю, ты умнее, просто слуш чувака, шоб не огрести потом. Кейн смеется и говорит, Снупз еще не остыл.

В тот же день мы свалили с хазы-чумазы.

Через неделю Недобрый переехал в собственную квартиру в одном квартале в Уэмбли, со своим маленьким сыном и дочерью. Говорит мне, он выиграл попечительство над ними, но деталей не рассказывает. Я помогаю им переехать, перетаскиваю стулья и картонные коробки с хаты его мамы, разгружаю машину. Летняя жара липнет к коже так, что хочется содрать ее, но боишься, что будет больно. Недобрый говорит, можешь тут ночевать, когда захочешь, Снупз.

Как-то вечером мы оттягиваемся у него в гостиной, дуем шмаль и чеканим рэп под музыку. Перед этим мы говорили о Тупаке и других рэперах, умерших молодыми, и Недобрый говорил, что это списывают на аварию, или передоз, или разборки, но на самом деле это все мутят иллюминаты. Они его убили, говорит Недобрый, принесли, блядь, в жертву, ага, они хотят поставить нас на колени всякий раз, как мы набираем силу. А затем он мне рассказывает, что черные люди – это боги, упавшие на Землю, и от воды в атмосфере Земли их зеленая кожа поржавела, и что все это началось в Древнем Египте, Кемете, где эфирные оптики – эфиопы из учебников истории – построили пирамиды. Затем из своих пещер выползли арийцы и украли все наше дерьмо, говорит он. Я говорю, что в курсе, уже слышал.

Он говорит, хочу тебе кое-что показать. Выходит из комнаты и возвращается, держа в перчатках синий целлофановый пакет с чем-то тяжелым. Надень перчатки, говорит он. И вынимает черный «Узи» МАК-10 и дает мне. «Узи» такой тяжелый, что оттягивает мне запястье, типа, я даже не могу держать его ровно одной рукой. Это тебе не кино, где он кажется совсем легким, то есть, «Узи» МАК-10 – это же реальный автомат, сплошь цельнометаллический и с длинной обоймой, торчащей из рукоятки. Скажу честно, едва я взял его в руки, я ощутил мощь, типа, хочу спустить курок и скосить кого-нибудь, чисто чтобы прочувствовать эту силу. Недобрый улыбается, пока я навожу «Узи» по комнате, а затем говорит, что будет рассказывать мне, как правильно ковать железо.

Я отдаю ему «Узи», и он убирает его обратно в пакет. И тут в дверь стучит его дочка и говорит, папа, так что Недобрый сует пакет под стол и подходит к двери, стягивая перчатки. Он говорит, чо те, принцесса, открывая дверь и подхватывая ее на руки. Она трет глаза, смотрит на меня, хмурится и быстро отворачивается, обнимая Недоброго за шею, и розовые заколки-бабочки на концах ее косичек задевают его по зубам, когда он говорит, хочешь попить, принцесса? Девочка качает головой и прячется у него на груди. Он начинает плавно покачивать ее, а сам смотрит на меня и говорит, даже не думай ковать железо в тачке, записанной на тебя или как-то с тобой связанной. Лично я за мотики, птушта на них можно по-всякому вилять по лондонским улицам, переулкам, тротуарам и так далее, а если ты в коне, всегда рискуешь застрять в какой-нибудь пробке. Всегда сжигай рабочую технику, тока в таком месте, где огонь не видно. Погодь, отнесу ее назад, в кровать, говорит он и выходит из комнаты. Я смотрю в окно и вижу, как белый серп луны медленно опускается в дрейфующую темноту.

Недобрый заходит в комнату, натягивая перчатки. Подбирает пакет с «Узи». Когда избавился от рабочей техники, идешь на хазу, где занычены новые шмотки и бензин. Сжигаешь все, что было на тебе, когда ковал железо. Насрать, если даже на тебе любимые мультики. Достанешь новые. Сжигай все, даже носки с трусами. Не, серьезно, старик, слушай, что говорю. До того, как надеть новые шмотки, вымойся бензином, не забудь промыть пальцем все складки в ушах, ноздри тоже и волосы. Надо смыть все следы пороха. Когда будешь дома, клади новую одежду в стирку и прими долгий душ, выскреби несколько раз все тело, и никому ни слова о деле. После этого он уходит из комнаты, и меня обнимает одиночество ночи. Я засыпаю на диване, весь в поту от жары, а руку мне оттягивает призрачный «Узи».

За неделю до того, как мне идти в универ, мы с Недобрым разругались, поскольку он задолжал мне девять сотен с тех пор, как мы толкали дурь. Прошло почти две недели, а он мне не скинул никакой лавэ. В итоге я ему набираю и выхожу из себя, и говорю, каким надо быть понторезом, чтобы не наскрести девять сотен, у тебя же двое мелких, которых ты кормишь и одеваешь, типа, как ты вообще их содержишь? Он заводится и говорит, знаешь что, забудь

про деньги, ничего ты не получишь, и лучше мне не попадайся, у меня для тебя большой МАК. Конечно, он знает, что у меня тоже ствол, знает, что ему меня просто так не прижать. Я говорю, значит, у тебя для меня большой МАК? Не забывай, я знаю, где ты живешь, старик, говорю я и слышу момент колебания, словно оглушительную тишину. Затем он говорит, ты спятил, Снупз, я с тебя шкуру спущу.

Значит, у тебя для меня большой МАК, да? Больше ни слова, и я кладу трубку.

Ствол уже был при мне. В один из тех дней я решил забрать его к себе, засунув в тугие джинсы, одетые под свободные треники, чтобы ничего не выпирало. Яйца реально вспотели. Не та погода для такого дерьма. Глушитель я оставил у мамы на хате, завернутый в футболку, в обувной коробке, где держал лавэ. Я набираю своему корефану, Уколу, с которым мы дружили с тринадцати лет, когда ходили в дом творчества на Хэрроу-роуд, и он вечно что-то мутит, но так шифруется, что ни его девушка, ни родки ни за что не прочухают. Укол берет трубку, и я говорю, братан, я хочу скосить одного мракобеса, и рассказываю, что случилось, и он говорит, давай наедем на этого брателлу, ствол у тебя есть? Я говорю, ага, и он говорит, давай пересечемся в Паддингтоне через пятнадцать минут. Когда я туда прихожу, он ждет меня на мотоцикле, с двумя шлемами, и мы начинаем перетирать, как это сделаем.

Но что-то меня останавливает от убийства Недоброго. Я начинаю вспоминать, что он мне рассказывал о том, как ковать железо, чтобы все сошло с рук. Начинаю освежать все правила, которым он меня учил, шаг за шагом и понимаю, что запутался. Укол протягивает мне шлем, но у меня в уме крутится, черт, я не смогу, слишком стремно, что, если одно, что, если другое, или сегодня просто не тот день, и тут же вспыхивает мысль, может, ты не готов к убийству, и вспоминается дочка Недоброго с ее заколками-бабочками, и я тут же ее отгоняю и смотрю в пустоту широко открытыми глазами, а затем слышу, как Укол говорит, эй, Снупз, ты чего, хочешь это сделать или что? И тогда я думаю, ну, нет, не так, не сегодня. Я не готов сесть за убийство за девять сотен, пусть даже очень хочу выпилить Недоброго, особенно после того, как мы с ним так сдружились, а потом за один разговор стали врагами. Мракобес ебучий.

Первогодки

Универ – это показ мод. Особенно для первоодков. У Капо куртка «Айсберг» с Даффи Даком. У меня новенькая куртка «Авирекс», черная кожа. Брателлы подровняли стрижки. Цыпочки пахнут шампунями и увлажнителями. Все, похоже, накупили себе мульки за неделю до универа и ходят таким размеренным шагом, чтобы не морщить обувь. Особенно кроссовки «Найк ВВС». Мусульманочки в чистеньких платочках, глаза с томной подводкой, очень эффектной. Белые люди не из Лондона, которым не терпится съесть свой первый комплексный обед Идеально Жареная Курица в Майл-энде. Какие-то ушлепки тырят книжки из книжного в универе, засунув под длинное мешковатое пальто, а потом впаривают за гроши студентам снаружи. Кузен Капо, Бликс, второкурсник, так что нам уже есть с кем тусить. Он нам показывает, куда можно сходить, выкурить косяк, вдоль канала, за одной студенческой общагой. Знакомство с учебным курсом, с лекциями, со студентами. Капо получает квартиру с Бликсом неподалеку от универа. Иногда я у них ночую. На учебу я настроен серьезно. Не собираюсь прогуливать лекции, забивать на задания. Все на моем курсе покупают полное собрание Шекспира. Все равно как Библию.

По одному из предметов мне задали эссе на три тысячи слов на тему «Искусство и истина в работах Аристотеля и Платона». Я одолеваю эту планку и дописываю эссе у Капо, ночью, накануне последнего дня, куря косяк за косяком и накачиваясь энергетиком, пока небо не светлеет и птицы начинают петь. Поспать мне так и не пришлось. Утром глаза у меня красные от курева и, богом клянусь, руки дрожат от кофеина. Тело холодное. Я иду и сдаю эссе. Через неделю мой профессор раздает проверенные работы, и у меня отлично – более того, это высшая отметка в моем классе. Вот так и проходил у меня первый курс: я флиртовал с цыпочками в библиотеке, встречался с Йинкой, писал эссе, читал книги, обсуждал литературу и всякое такое на семинарах... и делал движи.

После первого большого движа я пошел и купил грилзы на обе челюсти, из белого золота, с камнями сверху по краям. Чтобы как-то отметить то утро, когда я вломился на хату к одному бандосу в районе Гроува и... это была конкретная жесть. Сейчас расскажу.

Я съехал от дяди Т, когда пошел в универ, поскольку мне было нужно оставаться на востоке, чтобы ходить на занятия и передвигаться с места на место, не платя за жилье. Но в первую четверть, всякий раз, как выдавались дни без семинаров и лекций, а таких было немало, я ехал на запад и частенько ночевал у мамы, чтобы рано утром пересечься с Дарио и приглядеть хату, куда можно вломиться, когда хозяйева будут на работе, или типа того. Мы выбирали их наугад. Положись на чуйку, улучи момент, когда никто не смотрит, – и вперед: с наскока ебашишь ногой по двери, пока шарашит адреналин.

Мой братан Дарио. Мелкий, четкий и спокойный, точно камень. Часто носит бандану, в ушах крупные гвоздики с цирконами, которые он вечно теряет и покупает новые, хотя мог бы спокойно купить и с брюликами, учитывая, сколько лавэ мы подняли на движах. Клянусь, братан, говорит он, я их только так теряю. Когда он говорит, слова слетают с его губ, словно спасаясь бегством, и ты слышишь их у себя в уме, уже после того, как он их сказал. Вечно мутит с телками выше себя и такими тучными, что его голова утопает в их сиськах, словно он и вправду их малыш.

В то время Дарио мутит с одной телкой, жившей в районе Гроува, и ее батя был, судя по всему, реальный бандос. Она то и дело говорила Дарио о пачках денег у них на хате, а однажды рано утром она увидела на кухне, как папа чистит волюну. Когда она сказала Дарио, что папы на выходных не будет, он позвонил мне и сказал готовиться.

Тем утром, когда мы идем на дело, я на взводе, мышцы дрожат под напором адреналина, пока мы приближаемся к нужному кварталу в клявах-пидорках и перчатках. Мы входим

в здание – ждем, пока кто-то выйдет, и придерживаем дверь, – и поднимаемся лифтом на двадцать второй этаж. Дико высоко. Оттуда видать весь Лэдбрук-гроув, раскинувшийся до самого города, теряясь вдалеке. Дарио забыл номер квартиры, но помнил, что она через две двери от 152-й. Две направо или две налево, сказал он. Мы выбрали ту, что справа. Квартиры выходили в узкий коридор, так что места для разбега почти не было. Мы натянули клави. Дарио открыл почтовый ящик, прислушался и сказал, там никого. Дальше, как обычно, считаем до трех и ебашим ногами по двери, ближе к замку. Если я говорю, что эта дверь держалась как вкопанная, я не преувеличиваю. Мы долбили по ней снова и снова, то есть нам уже было похую, не услышит ли кто, пока рама не начала отделяться от стены. Но замок все равно не поддавался. Бетон сверху раскрошился и осыпался кусочками, поднимая облако пыли. Еще один удар с наскока – и, как в замедленной съемке, словно крупный зверь, утыканный стрелами, дверь застонала, отделяясь от стены, и рухнула внутрь, на пол квартиры. Едва вбежав туда, мы поняли, что ошиблись.

Там была грязная кухонька, ванная с черной плесенью на потолке и комната, служившая спальней и гостиной. В комнате стоял диван, застеленный белой простыней, а на полу – буддистский алтарчик с китайскими иероглифами по белому пластику и обугленными благовонными палочками. Больше ничего.

Затем раздались голоса – кто-то шел по коридору – черт-черт-черт, так что я метнулся на кухню, схватил два здоровых ножа, дал один Дарио, и мы прижались к стене, ожидая, не сунется ли какой дебилоид в квартиру.

Потом я сказал Дарио, что был готов к реальной мокрухе. Я бы полоснул любого, кто бы ни вошел, а он сказал, я знаю, я видел, как ты двигался, Снупз, ты просто сразу врубил автопилот, а я рассмеялся и сказал, как иначе, братан. Кто бы там ни шел по коридору, они прошли мимо. Я понял, что они увидели дверь и все поняли, поскольку голоса стихли у проема, и один сказал, вах, дверь снесли, а другой сказал, атас, и они удалились.

Так что мы вышли, оглядели коридор, бросили ножи в квартиру, вернулись к двери 152 и отсчитали две в другую сторону. Получалось, что это черная дверь с латунным номером 150 над колотушкой. Я тут же понял, что эту дверь мы вынесем легко. Дарио был уверен, что цыпочка в колледже, а ее родки уехали на выходные, так что нам никто не мешает. В худшем случае придется связать девчонку, если она будет дома, но это фигня.

Дверь вылетела с первого удара. Квартира оказалась намного больше. Там никого не было. Мы обошли комнаты и нашли нычку в родительской спальне, в обувной коробке: пачки и пачки по пятьдесят фунтов, перетянутые оранжевыми лентами. Мы запрыгнули на кровать, подбросили в воздух деньги и стали обниматься, вопя и смеясь. Наверно, смотрелись мы дико: в черных трениках с бетонной пылью на коленях, в перчатках, с черными клавиами на головах, скачем на этом толстом белом одеяле в белой спальне, а кругом валяются розовые пачки полтинников. Мы сосчитали деньги, и вышло тридцать косых. Тридцать штук на двоих. Мне тогда и двадцати не исполнилось.

После того движа Дарио купил билет в Канаду и прожил там месяц у знакомых, поскольку нам надо было залечь на дно. Телкин папа определенно выпилил бы нас – то есть он бы убил нас только так, если б узнал, кто это сделал, – так что я в то время жил в Южном Килли, у Пучка, или на востоке, у Капо.

С тех пор моя жизнь стала другой.

Теперь, когда бы я ни завидел, что рядом со мной тормозит фургон или проезжает мимо, я весь напрягаюсь и сжимаю в кармане перо, ожидая, что кто-то выскочит и попробует схватить меня. Иногда я думаю, почувствую ли пули, когда в меня будут стрелять, или успею нырнуть за тачки на парковке. Теперь многое стало другим. То есть это совершенно другой уровень по сравнению с тем, когда мне было пятнадцать и я отжимал у всяких шкетов мобилы и бумажники. Теперь, когда я ощутил реальное бабло, мне захотелось больше.

Вот почему однажды в пятницу, выйдя с последнего семинара – мы обсуждали поэзию и почему поэты поступают так, а не иначе, – я иду в Хаттон-гарден с моим корешем Капо, к ювелиру по имени Крисмас. Он единственный в Хаттоне, кто еще делает грилзы, и я ему заказываю два отдельных зуба из белого золота с белыми брюликами, и Капо заказывает один зуб – платим за все полтинниками. Еще я прикупаю часы «Аква-мастер» с алмазной крошкой по краю, птушта все на районе сверкают такими, а к ним беру золотую цепь.

Так что на первом курсе я сижу на семинаре по Шекспиру в черном костюме «Найк» и с клевыми грилзами, после лекции по Ромео и Джульетте, и говорю, что месть – это чистейший инстинкт, нравится вам это или нет. Мечь – это проявление любви, подлинной чистой любви, как когда Ромео замочил Тибальда, птушта Тибальд замочил его кореша Меркуцио, говорю я классу, и, если кто-то изнасиловал вашу мать, вы ощущаете абсолютную потребность и страсть к убийству, самое естественное побуждение отомстить, даже если через долю секунды включатся ваши моральные установки, и ваши инстинкты притупятся в согласии с общественными нормами – и свет в классе дробится бесчисленными гранями на брюликах у меня в зубах.

Свадьба

Мне девятнадцать, сейчас апрель, и я отдыхаю от универа на пасхальных каникулах, а точнее, зависаю у Пучка и хочу достать дурь. Мама Пучка съехала и оставила ему квартиру, так что его кореша зависают там почти круглые сутки, и любой желающий может фактически заторчать и отъехать, там всегда как минимум четверо-пятеро чуваков, чеканят рэп или грайм, дуют шмаль и играют в «Соулкалибур» или «ГТА» на Иксбоксе, смотрят видосы уличных наебок и нарезку с братвой, гоняющей врагов, накачиваясь «Ализе» или «Хенни» и перетирая всякую хрень за полночь. Так что, если я не с Йинкой, которая вернулась жить к маме, я прихожу к Пучку, упарываюсь и сплю на диване или на полу.

Короче, я хочу дурь, и Пучок хочет дурь, а еще Кай и Слай, так что мы выходим с хаты и идем от Комплекса к дяде Т. Пучок говорит, у дяди Т пиф-паф. Стоит такой теплый весенний вечер, когда теряешь бдительность, и мы переходим Карлтон-вейл под камерой слежения у входа в парк и идем к Малверн-роуд. Мы могли бы срезать путь, повернув налево, через парк, вдоль фасада квартала Д, и выйти фактически прямо к Блейк-корту. Но мы на самом деле никогда так не ходим, особенно ближе к ночи, поскольку вся братва квартала Д патрулирует балкон, и нам придется пройти перед ними, и все будут зырить на нас, а эта братва всегда при стволах, все с клевыми грилзами, толкают хавку торчкам всю ночь, и если они нас увидят, кто-то может захотеть нас повоспитывать, как-то докопаться или просто выебнуться в наш адрес, чтобы все слышали, показать, кто тут главный, а мы все хотим избежать такого наезда, птушта никто не хочет знать, что ты под кем-то. Никому не хочется прогибаться.

Мы идем по дорожке через центр парка. Вокруг сгущается темнота, и мы видим, как от Малверн-роуд идут трое белых брателл с женщиной: брателлы в рубашках-поло, женщина на шпильках, в мини-юбке. Они громко базарят, наверно, чуть бухие. Может, они думали срезать путь, откуда они там шли, но они, похоже, в натуре, не врубались, где они. Мы идем – я, Пучок, Типок, Мэйзи, Кай и Слай, – занимая всю дорожку, петляющую к Малверн-роуд. Я приближаюсь к белым брателлам, и один из них идет прямо на меня. Прет вперед, типа, так и надо, так что яставляю плечо и шибая его. Я иду дальше, потом раз, и слышу, как он говорит, хер моржовый. Типок тут же крутанулся с перекошенным лицом, типа, чо? Тогда я подскочил к брателле, выхватил перо, раскрыв одним махом, и глубоко всадил ему в руку, которую он поднял на меня – я хотел пырнуть его в грудь, но он заслонился рукой, – и перо вспороло ему руку по всей длине, и я вижу, как на предплечье у него открывается широкий черный разрез, а женщина давай кричать, и я хватаю ее за куртку и швыряю наземь, под забор детской площадки с качелями и лесенкой. Ноги у нее такие бледные, словно в них влили луну, и одна шпилька сломалась, и она прижимает к себе сумку, а чувак держится за порезанную руку, глядя на нее с таким видом, словно это какая-то хрень, которую он только что нашел, а два других брателлы стоят, как громом пораженные, и вынимают мобилы, так что мы поворачиваем к Малверн-роуд.

Мы смеемся, и Мэйзи говорит, Снупз просто в ударе, а я такой, он, что ли, совсем охуел? Прет прямо на меня, как мудака последний. И Типок говорит, как может чувак развернуться и чего-то вякать, когда сам наскочил на тебя? Ебал я таких идиотов. И я говорю, точняк, братан, я видел, как ты крутанулся. И мы смеемся. Пучок говорит, ну, сейчас начнется, это надолго, это надолго – мы понимаем, что они настучат в органы, и, если феды, приехав, увидят нас, всех загребнут.

Это первый раз, как они увидели меня в деле. Мэйзи говорит, тебе надо связаться с моим кузенком, Готти, верь мне, вы двое будете несокрушимы, и Пучок говорит, это будет конкретная жесть. Я видел Готти пару раз на хате у Пучка, хотя мы с ним почти не общались, и я слышал, как он обирал чуваков на районе, выйдя из тюряги, тряс братву на хавку и дурь. Пока я был

в универе, он захаживал к Пучку, пытаясь подобрать себе напарника, но мы почему-то никак не могли пересечься. Хз.

Я такой, мне сейчас надо сваливать с района, и набираю Капо, поскольку он знает Южный Килли и обычно за рулем. Он берет трубку, и я такой, йо, братан, я только что пырнул одного брателлу, в парке ЮК, умоляю, приезжай и забери меня, мне нужно сваливать, и он говорит, ага, брат, мы с Бликсом тебя вытащим, просто мы на свадьбе брата Мо. Я кладу трубку и говорю братве, что сваливаю. Спокуха, Снупз. Они отчаливают к дяде Т, а я назад, в Комплекс.

Через пять минут Капо звонит мне и говорит, что припарковался за кварталом Пучка. Капо и Бликс в вечерних костюмах, птушта они прямо с этой марокканской свадьбы, и с ними один суданский брателла, которого зовут Омар. Я прыгаю в коня, и Капо говорит, подойдешь к стойке, там еще пьют-едят, и я такой, порядок, братан. Этот брателла Омар начинает спрашивать меня, зачем ты полоснул того чувака, типа, в чем смысл, это глупо, а я говорю, это, блядь, не глупо, не спрашивай, в чем смысл, если не догоняешь, ты просто не рубишь в такой жизни, ганста, и я смотрю ему в глаза, и он отводит взгляд и умолкает с таким видом, словно хочет что-то сказать, но понимает, что нельзя гнать лажу. Я вижу, он из тех, кто критикует тех, кто творит жесть, но не потому, что морально не согласен, а потому, что его пугает насилие, потому что сам не способен на такое, он не толкач и не едок и никогда никого не мочил. Он пытается сократить зазор между нами, поскольку то, что я сделал сейчас, добавит мне звездочек, тогда как он останется никем на большой дороге.

Потом я спрашиваю Капо, шозахуйня с твоим корешем, Омаром? Он задавал мне дебилские вопросы, а Бликс смеется и говорит, я видел, как он сразу заткнулся, когда ты сказал, что он не рубит в такой жизни, а Капо говорит, не бери в голову, он просто ссыкло, Снупз, больше ничего.

Мы заходим в дом культуры в Мейда-вейл, где проходит эта свадьба, и подходим к стойке. Остальные идут на вечерину, но я говорю Капо, я туда не пойду, брат. У меня не тот прикид, птушта на мне спортивный костюм и кроссовки, я тупо не одет для свадьбы, а в кармане у меня перо. Капо отводит меня на кухню в глубине ДК и говорит что-то по-арабски одному чуваку, который жмет мне руку со словами саям алейкум, указывая на стул у пустого столика. Капо возвращается на вечерину. Мне слышно пение, хлопанье и такое пронзительное женское стелание, почти как боевой клич; словно в этом голосе слились радость и боль. Потом раз, и одна марокканка в платке приносит мне тарелку с рисом и ягненком, и я говорю, спасибо альхамдулиллах, потому что Капо сказал мне, что надо добавлять это, когда говоришь спасибо кому-то, и я ем за столиком один, пока женщины неподалеку раскладывают еду и смотрят за расшумевшимися детьми, одетыми все, как один, в вечерние костюмчики с блестящими туфлями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.